

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

ЦК ВЛКСМ

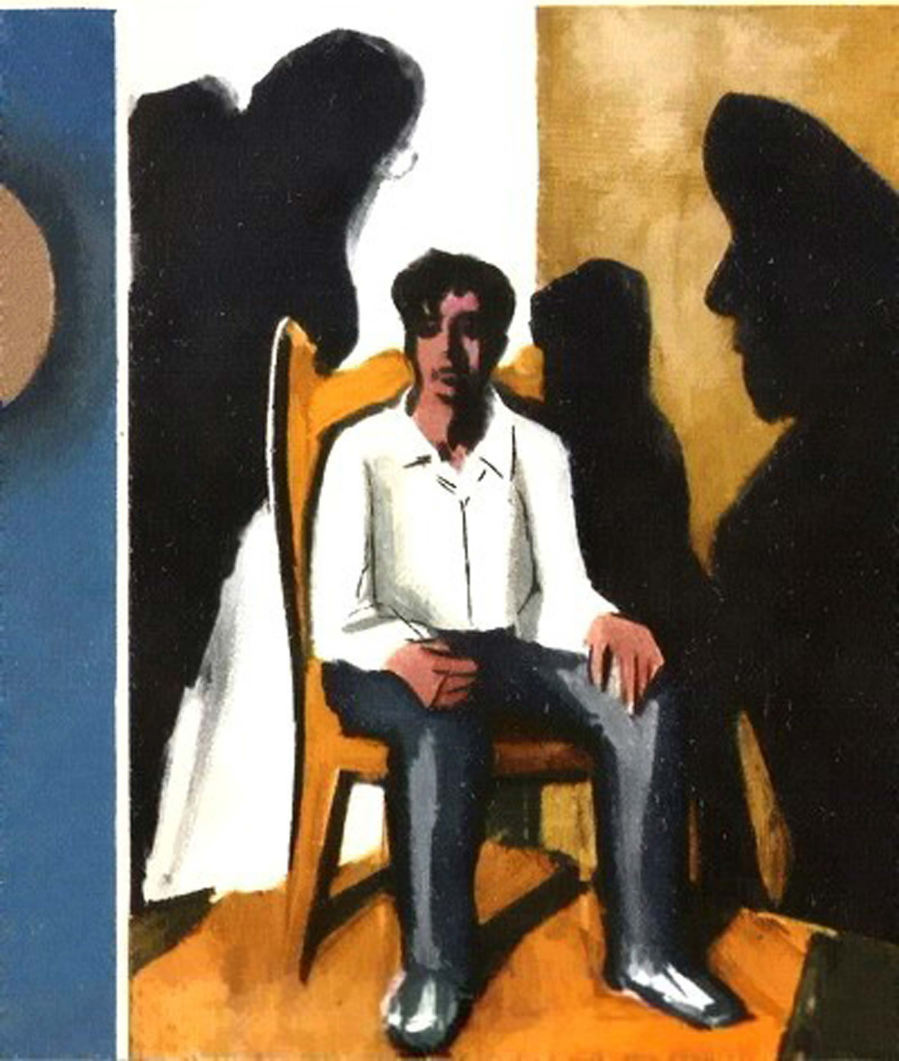
ВОКРУГ СВЕТА

И

скатень

3

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1973





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ
ВОКРУГ СВЕТА

Искатель

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1978

СОДЕРЖАНИЕ:

Ал. АЗАРОВ — Где ты был, Одиссей! . . .	3
Александр КАЗАНЦЕВ — Фаэты	87
Михаил БАРЫШЕВ — Конец «дачи Фролова»	139

№ 75

Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д И З Д А Н И Я



Ал. АЗАРОВ

ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?

Повесть

1. В ГОСТЯХ У ЦИКЛОПА — июль, 1944.

Одноглазый Циклоп — лучший мой друг. Мы это с ним установили вчера. Он так красочно и горячо расписывал перспективы, открывающиеся передо мной, если я всегда и во всем буду держать его руку, что я едва не бросился ему в объятия. Только врожденная сдержанность помешала мне сделать это. Мы скрепили договор о дружбе

Журнальный вариант,

© «Искатель» 1973

кружкой-другой светлого пива и решили, что на свидание с Кло явимся вдвоем.

Впрочем, лукавый Циклоп нарушил слово и прихватил в кафе приятелей. Сейчас они сидят за угловым столиком и со скукающими физиономиями потягивают аперитивы. С нами они не разговаривают и даже не смотрят на дверь, откуда должна появиться Кло Бриссак, двадцати двух лет, прелестная и таинственная.

Если Циклоп мой друг, то Клодина — моя гордость. Рост сто пятьдесят семь, талия пятьдесят пять, размер обуви — тридцать третий. Согласитесь, такое встречается не каждый день. Если же к перечисленным достоинствам добавить родинку на левой щеке, голубые глаза и длинные волосы, волшебством парикмахера превращенные в старое золото, то, право, легко понять Циклопа, загоревшегося желанием познакомиться с Кло, и чем скорее, тем лучше. Ради такого случая он даже переоделся в новенький костюм, узковатый в плечах, и заколол свой бордовый, очень корректный галстук жемчужной булавкой.

Утром, готовясь к свиданию, Циклоп так волновался, что выкинул лишнюю сигарету. Десять штук в день — вот та норма, которую он себе определил во имя долголетия, и ровно десять слабеньких «Реентсма» умещается у него в портсигаре. Об этом я узнал вчера во время задушевной беседы, равно как и то, что дома у него невеста — премилое существо, с коим он обручился еще в сороковом.

— А как же свидание с Кло? — спросил я. — Господь, освящающий браки, не прощает измены избранницам, даже если они совершены в помыслах, а не действии.

— Бриссак — особый случай. И потом, кто она — женщина или призрак? Или, быть может, плод вашей фантазии?

— Я реалист.

— Вы? — Очки Циклопа нацелились в мою переносицу. — Милый мой, да вы или сущее дитя, или фантаст почище Гофмана. Три месяца знакомы с вашей Кло, а не знаете адреса и, боюсь об заклад, ни разу не слезили ей под лифчик.

— Так оно и есть.

— Так или не так, я это выясню. Если, конечно, Клодина Бриссак не призрак. В последнее время, знаете ли, я столь часто имею дело с призраками, что считаю в наших кругах доктором оккультных наук. Вы меня поняли?

— Еще бы! — сказал я и пожал плечами.

При желании мне ничего не стоило поразить Циклопа деталями, которые на известный срок развеяли бы его сомнения, но я предпочитаю приберечь их напоследок, на тот стопроцентный возможный случай, если Кло не явится в кафе. Ночью я так долго думал о ней, что вся жизнь Клодины, просмотренная, как лента фильма, запечатлелась в моей памяти: знаю я и склонности Кло, и ее сокровенные привычки, и особенности, вроде манеры растягивать гласные в слове «милый».

— Так где же ваша крошка? — спрашивает Циклоп и постукивает ногтем по стеклу часов.

Ноготь хорошо отполирован и вычищен. Кожица у основания подрезана. Я слежу за рукой Циклопа и думаю о том, что

у него удивительно красивые пальцы: длинные, тонкие; пальцы пианиста или аристократа.

— Еще не вечер, — отшучиваюсь я. — Да и где гарантия, что Фогель не напутал? Говорил же я вам, что на могиле несколько кашпо, и было бы лучше, если б я сам поставил гвоздики куда надо. А ваш Фогель...

— Ни слова о нем!..

Правый, живой глаз Циклопа, увеличенный стеклом очков, с пугающей быстротой приобретает мертвенную холодность ледяного, фарфорового. В голосе проскальзывает резкая нота. Уловив ее, двое за столиком в углу угрюмо настораживаются и смотрят в нашу сторону.

— Успокойтесь, Шарль, — говорю я и медленно, не расплескав ни капли, подношу ко рту чашку с остывшим кофе. — Согласитесь, что я прав: Фогель не производит впечатления первого ученика.

— Скажите-ка это ему.

— Ну нет! Хирурги дерут втридорога, особенно когда имеют дело со сложными переломами... Но я не об этом, Шарль! Просто мне кажется, что на кладбище нужно было ехать нам с вами. Второе кашпо слева в нижнем ряду и три крапчатых гвоздики, и Кло прочла бы мой призыв: «Приходи завтра!»

Живой глаз Циклопа тихо оттаивает.

— Или наоборот, — говорит он с полуулыбкой. — «Не приходи никогда». Три махровые гвоздики и еще какой-нибудь пушечок, о котором вы мне позабыли сказать. Так может быть?

Беседовать с Циклопом одно наслаждение. Он строит фразы легко и изящно, и где-нибудь в светском салоне я бы мог ошибиться и принять его за маменькиного сынка с приличным состоянием. В своем кабинете он явно не на месте. Письменный стол слишком огромен для него, а пуританские формы ползвых телефонных аппаратов диссонируют с его белоснежными рубашками из батиста и очками в тонкой золотой оправе. Когда я впервые увидел его за столом, то с грустью понял, что судьба подкинула мне чистое «зеро».

Очевидно, флюиды и прочие импульсы, рождающиеся при работе мозга, все-таки существуют, ибо Циклоп вдруг накрывает мою руку своей почти бесплотной и мягко говорит:

— Не надо волноваться, мой друг.

— С чего вы взяли?..

— Ну, ну, только не лгите. Я же вижу: вам не по себе. Со знайте, что Кло — мираж в пустыне, и мы сейчас же поедем домой. Ну как?

— Подождем.

— А не зря?

— Чего вы хотите? — говорю я серьезно. — Чтобы я взял и вынул вам ее из кармана?.. Черт возьми, я больше вас заинтересован в свидании. Если мы уедем, а она придет, кто проиграет? Не вы же?

— Будь по-вашему, Мюнхгаузен! Гарсон, еще два кофе. Не очень крепких.

После полудня в кафе пусто. Девушки, забегающие сюда, чтобы за бокалом оранжада посплетничать о любовниках и купить у буфетчика из-под полы пару чулок «паутинка», — все эти Мари,

Рози и Люлю с кожей той нежной голубизны, что свидетельствует о постоянном недоедании, давно уже разошлись по своим конторам, шляпным мастерским и салонам мод. Кафе, как и весь Париж, в промежутке с часу до четырех — зона пустыни, и только мы застряли в нем, как бедуины на привале.

— Пейте, — говорит мне Циклоп и отставляет свою чашку. — Договорились — еще полчаса? И баста!

— Кло придет. Вы получите ее, Шарль, а я получу...

— Ну и характер! Вы и в аду открыли бы мелочную лавку! Признайтесь, мой друг, у вас в роду не было торговцев?

— Только чиновники.

— Ах да, колониальная администрация в Марокко. Странно, почему у вас такая кожа серая, ни мазка загара? Законы наследственности на вас не распространяются?

Все та же игра! Третий сутки подряд. Я изрядно устал от нее и к тому же хочу спать. Сейчас Циклоп начнет вытягивать из меня подробности относительно моего детства или расположения улиц в Марракеше или спросит, сколько франков стоил до войны на базаре праздничный наряд туарега. Мелочи, сотни мелочей, которые он ухитряется проверять с феноменальной быстротой. Вчера к концу разговора, когда Фогель, раза три встававший и уходивший куда-то, вернулся в последний раз и положил на стол какую-то бумажку, Циклоп, бледно улыбаясь, уличил меня во лжи относительно расположения бара в мадридском отеле «Бельведер». Я пытался спорить, но Фогель быстренько вычертил план, и мне ничего другого не осталось, как сослаться на плохую память.

— К тому же я жил там сутки, — добавил я как можно небрежнее.

— Но названия коктейлей помните?

— Все просто: за каждый из них я платил... Я всегда помню, что именно приобретаю на свои денежки... А бар — справа он или слева, какая разница?

— Очень любопытно, — сказал Циклоп. — Очень, очень любопытно, как расходятся взгляды у разных людей на один и тот же предмет. Фогель оплатил ваши счета в пансионе и утверждает, что вы настоящий мот. Сами вы признаетесь, что скупы, как Гарпагон, и знаете цену каждому сантиметру. Мне вы не представляетесь ни тем, ни другим — здравомыслящий реалист, и только. А вот доктор — помните его? — убежден, что вы сумасшедший и тот припадок, который сразил вас вечером, есть следствие органических изменений центральной нервной системы.

— У меня был припадок?

— А разве... Не помните?

— Смутно. Что-то белое и синяк на левой руке.

— Халат врача и гематома — вы так рвались, что доктор пропорол вам вену иглой. Давно это с вами?

— Было в детстве, потом прошло. Нет, я не сумасшедший!

— Я тоже так думаю, — кивнул Циклоп. — Для шизофреника вы слишком логичны. Даже то, как вы через Испанию попали в Париж, убийственно логично. Кстати, где у нее родинка, у вашей Кло?

— На левой щеке, — сказал я и попросил сигарету.



Когда я прикуривал, пальцы у меня дрожали:

Сейчас я слежу за собой и радуюсь: кофе в чашке недвижим. Черный кружок и замершая в центре соринка — микро-океан и тонущий кораблик Одиссея. Одиссей — это я. Все есть на моем пути: и бури, и плач сирен, и жуткий бег между Сциллой и Харибдой, и хозяин пещеры Циклоп. Где ж ты был, Одиссей, куда тебя носило?

Циклоп с непроницаемым лицом смотрит на часы. Белый манжет, перехваченный жемчужной запонкой, свободно свисает с узкой руки. Она так женственна и артистична, что кажется, еще миг — и ей дано будет вспорхнуть над возникающими из складок скатерти клавишами, и Бетховен встретит Кло, входящую в кафе, гимном, достойным ее красоты.

— Полчаса прошли, — говорит Циклоп деловито и поправляет выскочивший манжет. — Пора домой. Там мы побеседуем о наших делах в спокойной обстановке. Согласны? Заодно я буду рад услышать от вас, как и когда вы придумали сказку о Клодине Бриссак. И зачем вам она понадобилась — это я тоже не прочь узнать.

— Фогель перепутал кашпо...



— Фогель ли перепутал кашпо, вам ли потребовалось показаться кому-то в моем обществе — все это вещи, достойные размышлений. У нас с вами впереди бездна времени для бесед по душам, и чутье говорит мне, что беседы эти будут очень, очень откровенными... Допивайте свой кофе.

Двое встают из-за столика и, не дожидаясь, пока Циклоп отсчитает деньги, выходят из кафе. У них прямые спины, обтянутые стандартными пиджаками, и грубая обувь военного образца. Такую солдаты вермахта сбывают на «черном рынке» около Триумфальной арки. Там же, у арки, кулисье торгуют валютой всех стран мира. Один из них и продал мне ту самую двухфунтовую бумажку с радужными разводами и тонкими штрихами защитной банковской сетки.

Гарсон отсчитывает сдачу, а я пью свой кофе. Мне-то совсем не хочется спешить...

Мы выходим на улицу, на самое пекло, и горячий тротуар Елисейских полей мягко приминается под моими каблуками. Небо — синее с белым, ни дать ни взять океан, по которому Одиссею уже, пожалуй, не плыть никогда. Разве что мысленно... Я невесело усмехаюсь про себя банальности сравнения

и иду вместе с Циклопом к машине. Двое в военных башмаках шествуют сзади и подпирают меня взглядами.

«Мерседес» стоит за углом, охраняемый щуплым субъектом в шляпе с перышком. Когда мы приехали, он уже ошнчался тут, возле афишной тумбы. Усики и цепкий взгляд странно не вяжутся с отлично сшитым дорогим костюмом; из бокового кармана торчат тонкие перчатки. Субъект открывает дверцу, пропускает Циклопа и сильным движением толкает меня в задний отсек машины, куда уже успели забраться парни в стандартных пиджаках.

— Садитесь и вы, Фогель, — говорит Циклоп. — Мы потеряли два часа.

Фогель с треском захлопывает дверцу и, раньше чем машина берет с места, защелкивает наручники на моих запястьях. Шляпа с перышками царапает мою щеку.

— Осторожнее, — говорю я. — Он выбьет мне глаз, Шарль.

— Ну, ну, Фогель...

— Все в порядке, штурмбаннфюрер. Я только надел браслеты... Я его и пальцем не коснулся...

— Еще успеешь, — негромко говорит Шарль, он же Циклоп, он же СД-штурмбаннфюрер Карл Эрлих.

И «мерседес» устремляется по улицам Парижа от центра к периферии. Именно там, подальше от деловых кварталов, в Булонском лесу, расположилась пещера моего Циклопа. Называется она просто и со вкусом — гестапо.

Я закрываю глаза и думаю об Одиссее, кораблик которого занесло чертовски далеко от родных вод... Впрочем, какой я Одиссей? Меня зовут Огюст Птижан. Сын отставного чиновника из Марракеша Луи-Жюстена Птижана и Флоры, урожденной Лебрие. Мне тридцать семь лет; у меня слабое сердце, одышка и плоскостопие, сделавшее меня негодным к призыву в тридцать девятом; и главное — мне очень надо жить...

2. КОЕ-ЧТО О СТРАНСТВИЯХ — ИЮЛЬ, 1944.

Главное — мне очень надо жить. И Эрлих это превосходнейшим образом понимает. Понимает он и то, что ни один человек на свете, оказавшись в моей шкуре, не станет исповедоваться с детским простосердечием. Посему он в третий раз на протяжении утра выслушивает рассказ Огюста Птижана о том, зачем и почему Птижан перебрался весной из Марракеша в Париж. Надо отдать ему должное: слушать он умеет.

— Ну вот, — говорю я, добравшись наконец в своем поведении до злополучного отеля «Бельведер». — Там-то я и решил, а не попробовать ли счастья в Барселоне? Мне сказали, что суда в Марсель ходят довольно часто и что с испанским паспортом у меня не будет затруднений... Продолжать?

— Да, да, конечно, — вежливо говорит Эрлих и склоняется над стопкой бумаги. Стопка лежит идеально прямо, но штурмбаннфюреру что-то не нравится, и он подравнивает ее металлической линейкой, сдвигает на пару миллиметров вправо. — Не забудьте, пожалуйста, подробности поездки... Любые мелочи важны... Хотя что я — у вас, мой друг, такая память, что мы

с Фогелем не устаем поражаться. Вы не увлекались мнемотехникой?

— Нет... Но вы правы: память у меня хоть куда!

Слова, слова! Я изливаю их таким могучим потоком, что Рона в сравнении с ним показалась бы жалким ручьем. Однако Эрлих готов тратить и время, и терпение, выслушивая импровизации Огюста Птижана, а Фогель, человек в общем-то, как мне кажется, желчный и экспансивный, ни звуком, ни жестом не выражает протеста и, согнувшись в три погибели над громоздким «рейнеметаллом», знай выстукивает себе которую по счету страничку протокола. Печатает он одним пальцем, но быстро и записывает все дословно. Машинка сухо потрескивает, и я, описывая маршрут Мадрид — Сарагосса — Барселона, чувствую себя знаменитостью, дающей интервью...

Я думаю о Фогеле, и возникает пауза, разрушаемая Эрлихом. Он не любит, когда я останавливаюсь.

— Вы что-нибудь забыли?

— Я устал.

— Скоро отдохнете, — говорит Эрлих с намеком. — На чем он запнулся, Фогель?

— На Сан-Висенте-де-Кальдерс. Перечитать?

— Не стоит, — говорю я. — В Сан-Висенте я сошел с поезда и пересел в автобус. Большой автобус марки «бенц», с багажным отделением наверху.

— Почему перешли?

— Какая-то авария на станции. Говорили, будто вагон сошел с рельсов или выворотило шпалы... Не помню... Это было шестнадцатого апреля, можете проверить.

Эрлих кивает и принимается выравнять стопку бумаги на столе. Вид у него скучающий. Чтобы немного взбодрить штурмбаннфюрера и подогреть его интерес, я, описывая поездку, вспоминаю несколько деталей, таких, как синий берет на водителе и перебранку между ним и огромной, неправдоподобных форм валенсийкой, севшей в Виллафе. Сбиться я не боюсь, ибо все так и было — автобус, синий берет и валенсийка, оравшая на весь салон, что она, хотя и заняла два места, заплатит за одно, поскольку в правилах не оговорено, что плата удваивается, если щедрый господь награждает женщину добротной задницей...

В этом месте рассказа вновь возникает пауза, но уже не по моей вине. Микки, в плиссированной юбочке и приталенном мундире шарфюрера СС, аккуратно постукивая сапожками, входит в кабинет и, выдохнув: «Хайль Гитлер!», сменяет Фогеля за машинкой. «Наконец-то!» — облегченно роняет Фогель и пересаживается на подоконник, чтобы немедленно приступить к своему излюбленному занятию — подпиливанию ногтей.

— Добрый день, мадемуазель, — говорю я Микки. — Преклестная сегодня погода, не так ли?

У СС-шарфюрера точеные ножки и невыразительное личико, укорашенное прической в стиле Марики Рокк. Насколько я знаю, немки в Париже, досыта объевшись «Девушкой моей мечты», все, как одна, украсили себя валиками надо лбом и подвитыми локонами сзади и за ушами. Некоторым это идет, но помощницу Эрлиха постигла неудача. Марикой Рокк она не стала, зато

приобрела удивительное сходство с диснеевским Микки Маусом — очень противным, на мой вкус, мышонком.

Микки не долго размышляет над ответом.

— Скажите ему, чтобы он заткнулся, штурмбаннфюрер! — изрекает она и ловко перебрасывает влево каретку. — Или он заткнется, или я ему врежу в пах. Еврейская свинья!

Эрлих долго и с интересом разглядывает нас обоих.

— Он не иудей, шарфюрер.

— Все равно пусть заткнется!

— Уже заткнулся, — говорю я кротко, чтобы доставить Микки удовольствие. — Однако как же с Барселоной, штурмбаннфюрер? Рассказывать или не надо? Госпожа шарфюрер против того, чтобы я здесь трепался...

Я все жду, что Эрлих однажды сорвется, и тогда будет то, что рано или поздно должно быть: крик, удары, сломанные кости и вывернутые суставы. Не понимаю, почему он церемонится с Огюстом Птижаном? Четверо суток я заговариваю зубы, потащил гестаповцев в кафе, куда якобы должна была явиться Кло, отпускаю шуточки — и все безнаказанно. Будь на месте Эрлиха статуя Бисмарка, и у той лопнуло бы терпение.

Все же последняя моя реплика заставляет штурмбаннфюрера побледнеть. Бледнеет он своеобразно — сначала кровь отликает от лба и подбородка, подчеркивая розоватую сетку на скулах, потом сереют сами скулы, и наконец белеет нос, весь за исключением кончика, который светится, словно тлеющая сигарета.

— Не зарывайтесь, Птижан, — тихо говорит Эрлих. — Сумасшедший вы или просто лжец — дело третье. Но что вы шпион, у меня сомнений нет. Надеюсь, нет их и у вас?

— Как раз наоборот...

— Хватит! Давайте о Барселоне. Где вы останавливались там?

— В «Континентале».

— Где питались? В ресторане? На каком этаже?

— На втором.

— Чушь. В Европе все рестораны без исключения расположены на первом.

— А в «Континентале» на втором. Боже мой, сколько можно твердить об этом?.. «Континенталь» стоит на Рамбла-де-Каталуна, в пятидесяти шагах от площади Де-Каталуна и в ста от улицы Пассо-де-Грасиа... Нетрудно проверить.

— Когда открывается ресторан? Утром, в полдень?

— Утром он работает недолго, а по-настоящему открыт вечером, с восьми.

— Опять лжете?

— Да нет же, — говорю я и пожимаю плечами. — Чистейшая правда, хотите присягну на библии? Вам знакомо такое понятие «сиеста»?

— Ну? — поощряет меня Фогель, отрываясь от ногтей.

— Сиеста — послеполуденный отдых. Днем в Барселоне спят, ходят в кино и обедают. В апреле тоже, хотя жара еще не столь убийственна. Кинотеатры открываются в одиннадцать, а рестораны в восемь или в девять. Это легко проверяется. Рассказывать дальше?

Дальше ничего нового не последует. Я опять, в пятый раз, упомяну о Гомесе, продавшем мне паспорт, опишу во всех

штрихах от ватерлинии до клотика «Лючию», плавающую под флагом нейтральной Коста-Рики, повторю историю, как сошел в Марселе ночью и до утра прятался в пустом пакгаузе, а утром, пользуясь беспечностью часового, выскользнул за ограду порта и, не мешкая, ринулся на вокзал, на парижский экспресс. Восемьдесят четыре часа с перерывами мы — Эрлих, Фогель и я — занимаемся набившим оскомину вопросом о моей поездке из Марокко во Францию, поездки, предпринятой ради спасения Алин Лекрек, нареченной Птижана, застрывшей в Париже с первых дней оккупации. Восемьдесят четыре из девяносто шести часов, прошедших с момента моего ареста гардистами, истратившими треть суток на оформление документов и бессистемные побои.

Меня взяли в метро в одиннадцать с минутами. Черт разберет, что уж там померещилось сухопарому молодцу в брюках-гольфах, буравившему остренькими глазками пассажиров на станции Распай. Он стоял у выхода и, повинувшись одному ему известным причинам, положил мне руку на плечо. Документы мои были в порядке, костюм безупречен, и я без опаски сунул гардисту удостоверение и пропуск комендатуры. Пропуск был, разумеется, фальшивый, но выглядел лучше настоящего — печати жирно сияли черной краской, все подписи были на местах. «В порядке», — сказал гардист, и в этот миг к моим ногам, скользя по подкладке, сухим листом спланировал двухфунтовый банкнот Британского королевского банка. Бежать было некуда, и молодчик, захватив мою руку по всем правилам карате, потащил меня наверх, где и сдал гардистскому патрулю.

Восемь часов спустя штурмбаннфюрер Эрлих в полной форме приехал за мной во Дворец юстиции и с Острова перевез в Булонский лес. Гардисты были недовольны, но возражать не посмели и даже помогли мне почистить пиджак — восемь часов они старались выбить из меня показания, где тайник с валютой: костюм от Вуазена и хорошие манеры арестованного привели их к твердому выводу, что Огюст Птижан имеет отношение к спекулянтам из-под Триумфальной арки. В силу этих причин пиджак мой к моменту прибытия Эрлиха напоминал лохмотья театрального нищего. Эрлих, безглаголиво морщась, подождал, пока гардисты орудовали платяной щеткой; фарфоровый глаз его при свете ламп исторгал молнии, тогда как живой с неподдельным интересом исследовал многочисленные синяки и ссадины на моем лице.

Усталость, побои, напряжение — все, вместе взятое, кончилось тем, что в Булонском лесу я свалился в припадке; явился некто в белом, я заплакал, потом захохотал и скатился в бесформенную бездну, откуда выкарабкался только к следующему утру. С тех пор мы почти неразлучны с Эрлихом; я говорю, он слушает и никак не хочет сорваться с тормозов...

— Рассказывать дальше? — повторяю я и, оглянувшись, посылаю Микки роскошную улыбку: пусть видит, что я не сержусь на нее.

Эрлих не торопясь выходит из-за стола и присаживается рядом с Фогелем на подоконник. Скрещивает руки на груди и на миг задумывается.

— Значит так... — начинаю я.

— Стоп! — говорит Эрлих и зевает, прикрыв рот ладонью. — К чему спешить, милейший? Повторите-ка мне, от «а» до «зет», как вы ехали из Мадрида в Барселону. И не ошибитесь, ради бога. Поняли?.. Ну валяйте, а мы с Фогелем послушаем; мы страшно любим слушать, не так ли, Фогель?

Черт бы его побрал, этого Эрлиха! Бесконечные повторы медленно, но верно ведут штурмбаннфюрера к цели. Не родился еще человек, способный изложить одну и ту же историю полдюжины раз кряду и при этом ни разу не спутать деталей, не сбиться, не обмолвиться — словом, не подарить опытному следователю пару-другую зацепок, ухватившись за которые он может найти искомое. Преимущество Эрлиха состоит и в том, что он не делает попыток навязать мне волю, а равнодушно ест все те блюда, что я готовлю на своей кухне.

— Я устал, — говорю я, и на сей раз чистойшую правду.

Эрлих поднимает брови.

— Вот как? Но мы еще и не начинали беседовать по-настоящему... Ну, ну, Птижан, не хитрите. В ваших интересах не портить отношений. Вчера вы признались, что занимаетесь шпионажем в пользу голлистов и назвали связную, явку, опознавательный сигнал на кладбище. Будь я легковее, мы бы этим ограничились и списали бы вас в Роменвилль. Залп — одним голлистом меньше...

Слезы наползают мне на глаза.

— Я лгал, господин Эрлих... я думал...

— Что спасете этим жизнь? Ах, как неразумно!.. Повторяю: окажись я легковее, все было бы кончено. Подвал, третья степень, а затем форт Роменвилль и залп из семи винтовок... Цените нас с Фогелем, дорогой Птижан! Вы живы, вас обхаживают как принцессу — и все для чего? Во имя гуманизма? Отчасти! Во имя буквы закона? Тоже верно, но не совсем. Просто и Фогель и я — порядочные ребята, считающие, что и в наш жестокий век не перевелись романтики... Ваша любовь к Алин, ваши поиски любимой — такая история близка моему сердцу. И вот я подумал: а почему бы и нет? Почему бы и не поверить влюбленному, вдруг он не лжет?.. Тогда не Роменвилль, а концлагерь и интернирование до конца войны. Улавливаете разницу?

Мягкая, обволакивающая боль сжимает мое сердце, и лицо Эрлиха, покачнувшись, начинает плыть перед глазами... Я знаю, что это такое, и изо всех сил цепляюсь за стул. Ногти скребут по дереву, откалывая остренькие щепочки... Сейчас я начну смеяться, а потом Фогель и Эрлих взвывают к потолку и будут летать надо мной, долбя клювами череп... Нет!.. Я-то точно знаю, что я не сумасшедший... Это все доктор Гаук, это он сказал, что у меня не в порядке с головой... Чепуха! Я здоров и отлично помню, как ехал из Мадрида в Барселону. Сначала поездом, а затем в автобусе; шофер может это подтвердить. Он не посмеет лгать, зная, что жизнь ближнего зависит от его слов... Вот он стоит в углу — синий берет и рубашка с закатанными рукавами... Эй, парень! Подтверди Эрлиху, что ты вез меня из Сан-Висенте!..

Спокойствие приходит ко мне — прочное и умиротворенное. Теперь, когда шофер здесь, в гестапо, я могу и поспать.

Я укладываюсь на перину и зажимаю глаза, совсем как в детстве, когда засыпал под стук ходиков с кукушкой... Впрочем, нет! Не было ходиков! Ничего не было, и детства тоже...

Сон наваливается на меня, вдавливая в перину, окутывает мраком и теплом. Из душного тепла выходит доктор Гаук, халат его хрустит, а голос подобен хрустальному звону...

...С острым звоном лопается горлышко здоровенной ампулы, и я прихожу в себя. Врач в белом халате поверх черной формы помогает мне вскарабкаться на стул и мощной лапой перехватывает мою руку у запястья.

— Ну как?

Это Эрлих.

— Все то же, штурмбаннфюрер.

А это врач — доктор медицины Гаук; его я, честно говоря, опасаясь больше Эрлиха и Фогеля, вместе взятых.

— Что вы предлагаете? — спрашивает Эрлих равнодушно, словно меня нет в комнате.

— Исследование спинномозговой жидкости — пункцию, штурмбаннфюрер. Тогда мы будем знать наверняка. Можно попробовать и барбитураты внутривенно — субъект растормаживается и говорит все, следуя за потоком сознания. Минуты две, не меньше. Очень эффективно при распознавании симуляции.

— На сколько вы его возьмете?

— На сутки. После пункции придется лежать.

— Но допрашивать можно?

— Конечно. Только не поднимайте его с постели.

— Хорошо. Я все обдумаю и сообщу решение. Свободны!.. Все свободны, и вы тоже, Фогель. Шарфюрер, оставьте мне протоколы. Перерыв, господа...

Врач, Фогель и Микки покидают комнату. Микки выходит последней, успев послать мне недобрый взгляд. Пробую по привычке ответить ей улыбкой, но губы словно одеревенели и плохо слушаются меня. Эрлих спрыгивает с подоконника и достает портсигар из нагрудного кармана.

— Голова... — говорю я.

— Голова кружится? Пустое, все пройдет. Все проходит в нашем мире, мой милый!

— Тривиально...

— А что не тривиально? Жизнь? Смерть? Чем вы отличаетесь от двух миллиардов двуногих, и почему я, штурмбаннфюрер Эрлих, трачу на вас время? Не догадываетесь?

— Нет, — говорю я довольно твердо.

— Ладно, закуривайте. И не изображайте сумасшедшего. У вас это неплохо получается, но думаю, что пункция и барбитураты подведут черту под спектаклем. Слышали, что сказал врач?

— Черту под спектаклем? Вы скверный стилист, Эрлих!

Штурмбаннфюрер чиркает спичкой и ладонью отгоняет сигаретный дым. Выпускает тонкую струйку, целясь мне в глаза.

— Отлично! Чувство юмора всегда при вас, точно кожа, мсье Птижан. Следовательно, вы не лишились способности рассуждать здраво и давать оценки происходящему? Я прав?

— Допустим.

Слабость еще не прошла, но я уже не цепляюсь за стул. В ампуле, вероятно, был сильный стимулятор — такое ощущение

ние, будто я хватил добрый стаканчик коньяку и сейчас балансирую на границе между трезвостью и опьянением.

— Тогда курите, — говорит Эрлих и протягивает мне портсигар.

— Трубка мира?

— Все может быть...

— А как же третья степень? Я все жду и жду!

Эрлих прищуривается и убирает портсигар.

— Всему свой срок... Слушайте внимательно, Птижан. У меня три версии. Первая — вы шпион. Вторая — донкихотствующий романтик. Третья — сумасшедший. Последние две мы пока оставим и сосредоточимся на первой. За нее так много аргументов, что затрудняюсь пересчитать. Но вот вопрос — кто вас послал? В Париже вы три месяца — мы проверили, и оказалось, вы не лжете... Клодина Бриссак? Может быть, вы выдумали ее, а может, и нет. Во всяком случае, полагаю, в кафе вам требовалось побывать... Итак, кто вас послал? Это самое основное. Вчера вы сказали: французы. Сказали без колебаний и не испытывая при этом видимых мук совести. Но разве так предают своих? Полноте, Птижан! Не считайте меня новичком!

— Я и не думал...

— Стоп! Сейчас моя очередь говорить... Четверо суток вы врете мне, хотя и знаете, что банкнот лежит здесь, в столе; Алин Деклерк в Париже никогда не проживала, а при обыске в пансионе найдены кое-какие вещички, купленные вами не во Франции!

— Белье? — словно вспоминая, говорю я. — Белье с английскими метками? Но оно продается в Рабате в любой лавке.

Эрлих кивает.

— Верно. Во всем, что касается Рабата и отрезка Марракеш — Барселона, вы довольно точны. И знаете — я вам верю. Вы приехали именно оттуда, из Марокко. Вот почему я и утверждаю, что за вашей спиной не французы, а более мощная и богатая организация. Разведка господина де Голля не в состоянии затратить столько франков на переброску. Англичане без особых фокусов переправляют агентуру голлистов через Ла-Манш — и скатертью дорожка!.. Другое дело — вы. Сам выбор маршрута говорит за то, что Огюст Птижан не рядовой агент, а фигура покрупнее! Много крупнее. Если же помнить, что «Бельведер» и «Континенталь» — фешенебельные отели, то — вы следите за моей мыслью? — мсье Птижан вырастает до размера колосса... Какое у вас звание, мой друг? Майор? Или еще выше?

— Маршал Франции!

Раз Эрлиху хочется видеть меня колоссом, то почему бы не присвоить себе любой высший ранг, вплоть до генералиссимуса. Мне это ничего не стоит.

— И вот еще что, — добавляю я небрежно. — Алин Деклерк действительно никогда не жила в Париже. Мне страх как не хотелось, чтобы гестапо рылось в доме будущего тестя. Кому это захочется, верно? Но еще меньше мне улыбается быть расстрелянным в качестве агента. Поэтому, господин Эрлих, не соблаговолите ли вы взять карандаш и записать настоящее имя моей невесты? А заодно и ее старый адрес — по нему она прожива-

ла до сорокового... Прошу вас, пишите, 8-й район, улица Гренье, 6, Симон Донвилль. Ее семью знает вся округа. Заодно консьерж скажет вам, что три месяца назад я справлялся о Симон. Думаю, он не откажется удостоверить мою личность. А теперь — нельзя ли сигаретку? У вас ведь «Реемтсма»? Очень приятный сорт...

Иногда это полезно — подбросить в костер полено потолка. Парадокс из области физики: пламя отнюдь не увеличивается, а, напротив, убывает, и иногда надолго. Кроме этого полена, у меня в запасе есть еще несколько, одно лучше другого.

Словом, поживем — увидим.

3. ЦИКЛОП, ГАУК И СУКИН СЫН ФОГЕЛЬ — ИЮЛЬ, 1944.

Поживем — увидим. Авось да небось. Сколько веков утешается человечество этими суррогатами реальных надежд? Лично меня они не ободряют. И я говорю себе: «Огюст, ты хороший парень, но ты вляпался в скверную историю. В лучшем случае тебя без особых хлопот шлепнут как-нибудь поутру в заболоченном рву старого форта Роменвилль. Будет солнечно и тихо, и меланхоличные лягушки проквакают тебе отходную. Однако десять против одного, что Циклоп и Фогель вытянут перед этим из тебя жилы, а ты только человек, и, как знать, не сболтнет ли твой язык чего-нибудь лишнего?..»

Вечером СС-гауптштурмфюрер доктор Гаук сделал мне пункцию. Сделал мастерски — я и не почувствовал, как игла вонзилась между позвонками, слабый скрип — и только. Я сидел на стуле лицом к спинке и глазел на стену, где ползали большие черные мухи. Таких почему-то называют мясными. Мухи ссорились и склочничали, точно домохозяйки в коммунальной кухне. Пока Гаук выкачивал спинномозговую жидкость, мухи успели передрались, а Фогель, присутствовавший при операции, мрачно морщась, советовал мне не дожидаться результатов анализа и выкладывать правду.

— Сукин ты сын, — сказал я ему, намеренно разделяя слова. — Тебя разве не учили, что давать советы — привилегия старших? Ты думаешь, если напялил черный мундир, так сразу стал умнее всех? Или нет?

— Заткнись!

— О, как страшно!.. Ты действительно сукин сын, Фогель. И еще трус. Ставлю голову об заклад, что после высадки * прачка не успевает приводить в порядок твои кальсоны. А когда союзники возьмут Париж, ты продашь всех и фюрера тоже, вымаливая себе местечко под солнцем. Вот оно как...

Гаук не успел сменить позицию и стать между нами: черный и стремительный — сушая пантера! — Фогель метнулся ко мне и нанес апперкот, сделавший бы честь самому Джо Луису. К счастью, Гаук уже извлек иглу: я установил это, вынырнув из обморока; в противном случае остатки дней своих Огюст

* 6 июня 1944 года союзные войска (со значительным опозданием против обещанных сроков) наконец высадились в Нормандии и открыли второй фронт. Темпы их продвижения в глубь Франции к описываемому моменту были довольно незначительными.

Птижан провел бы с двумя дюймами крупновского железа между позвонками.

Гаук взял меня под мышки и водрузил на стул.

— Вот что, — сказал он с мрачным юмором. — Вы выясняйте, кто есть кто, а я пойду. Только учтите, штурмфюрер, потом не просите меня собирать целое из осколков.

Фогель сосредоточенно погрыз ноготь.

— Хорошо, гауптштурмфюрер. Но пусть он помолчит.

— Не слушайте, вот и все.

Говоря, Гаук раздвинул мне веки, надавил на переносицу.

— Посмотрите на мой палец... Сюда... А теперь сюда...

По спине у меня текло что-то мокрое и горячее. Может быть, кровь. Я скосил глаза, следя за пальцем Гаука... До операции он изрядно помучил меня всевозможными манипуляциями: стучал по колену молоточком, заставлял стоять на ребре сиденья стула, чертил перышком решетку на груди. Судя по всему, он взялся за меня всерьез.

— Доктор, — сказал я. — Я хочу рисовать. Пусть мне дадут карандаши, я нарисую на стенке козлика. Я рисую, как Модильяни, даже лучше Модильяни.

Гаук негромко заржал, показав крепкие желтые зубы.

— Вам мало прогрессивного паралича?

— Что-нибудь не то?

— Козлик — ближе к шизофрении. Хороший сумасшедший должен знать симптомы...

Гаук марлевой салфеткой вытер мне спину и одним движением прилепнул наклейку.

— Одевайтесь!

— А как же козлик? — запротестовал я. — Дадут мне карандаши?

— Дайте ему их, штурмфюрер, — сказал Гаук и снова заржал. — Пусть рисует. Я, знаете ли, собираю сувениры.

— Еще что?

— А ничего. Шесть часов он должен лежать на брюхе и не двигаться. Пусть ему принесут горшок, а то, чего доброго, попрет на парашу. Ясно?

Они ушли, а я остался, лег на койку и закрыл глаза. Еще шесть часов. А что потом? Наверно, барбитуровая проба. Две минуты болтовни, не зависящей от моей воли и отражающей поток сознания. Значит, имена, адреса, даты...

Одеяло прилипло к мокрой от пота спине. Толстое добротное одеяло с пышным ворсом и ткаными руническими знаками в углу. Клеймо СС.

Шесть часов... Из них три, похоже, прошли...

Я лежу на животе и мягкой алюминиевой ложкой рисую на линолеуме длинноногого козленка. Мордочка выходит хоть куда, но все же чего-то не хватает. Чего? Ах да! Рогов нет... Черенком ложки я пририсовываю козленку два штопора и длинную бороду, похожую на мочалку... Мне никто не мешает. В комнате я один, а в двери нет глазка. Обыкновенная комната и обыкновенная дверь, разрисованная масляной краской под орех. Раньше здесь, должно быть, жила прислуга.

Плохи твои дела, Птижан. Хуже некуда.

Впрочем, так ли это?.. Граф Монте-Кристо сидел в каменном

мешке, выдолбленном в скале одинокого острова. И то ухитрился бежать. Славный герой Дюма-отца обломком чего-то там — кажется, кувшина или миски? — сумел проложить себе ход в тверди. Трудно же ему было! Многопудовые гранитные блоки, вековая извесь, твердая как алмаз... Чем я хуже Монте-Кристо? У меня есть ложка, а стены особняка сложены из обычного кирпича, связанного в два ряда.

Посмеиваясь над Птижаном, пасующим перед не бог весть каким препятствием, я прихожу к твердому выводу, что герои романов были из другого теста. Ну какой я герой? Стену и то сломать не могу, да и внешность у меня заурядная — так, человек из толпы...

Я пририсовываю козлику хвост-пупочку и думаю, что это за штука — барбитураты внутривенно? Насколько наркотик развывает язык и что можно наболтать за сто двадцать секунд? Очевидно, сильное опьянение, резкое снижение контроля, раторможенность и все такое прочее... Да, невесело...

Надо за что-то зацепиться и не дать себя сбить. Клодин Бриссак?.. Что ж, пожалуй, годится. Держись за нее, Птижан! Наркотик будет делать свое, а ты тверди: Клодин, Клодин, Кло, Клодин Бриссак. Тысячу раз повторяй и рисуй ее: руки, голос, лицо... Ладно, с этим ясно. А сам я кто? Пусть будет Одиссей. Сумеешь ли ты построить цепь ассоциаций от Одиссея к Гауку и Эрлиху? Гаук и Циклоп... Давай попробуем все подряд: Клодин Бриссак, блондинка, живет в одиннадцатом районе, адреса не знаю; Гаук — белый халат; Циклоп, Циклоп, Циклоп... Медленнее! Иначе не заполнишь две минуты... Итак, Клодин Бриссак — подруга Одиссея. Где ты был, Одиссей?.. Не так. Это уже за гранью дозволенного. Одиссей никуда не выезжал за пределы Рабата и Марракеша. Только в Париж — через Мадрид и Барселону.

Козлик, козлик, где ты был?.. Мой козлик с рожками штопором — почтенный домосед. Час назад я создал его, поместив слева и наискосок от кровати, и он все еще торчит там и даже пупочкой не шевелит. Мне бы так — раз и навсегда стать на своем и ни на дюйм не двинуться в сторону.

Что нашли при обыске в комнате? Белье с английскими метками. Почтовую бумагу: такой здесь нет в продаже. Тоже английская. Фогель, вернувшись из пансиона, приволок в гестапо не только мой чемодан, но и бумажный пакет, куда, по-видимому, собрал мусор из пепельниц и корзинки. Сукин сын, этот Фогель; он примитивнее Эрлиха и ждет не дожидается часа, когда тот позволит ему спустить с меня шкуру. Боюсь, однако, штурмбаннфюрер не даст ему перестараться.

Вечер сейчас или ночь? Не знаю. Окно снаружи забито досками, ни черта не разберешь... Пока мне ни разу не удалось спровоцировать Эрлиха и вызвать у него ярость. Врачи говорят, что у меня слабое сердце, долгих побоев я не выдержу.

Каждый знает, на что он идет. Я с самого начала считал себя наименее подходящим к будущей роли. У меня было время отказаться — неделя, кажется. На третий день пришел и сказал: «Согласен». Почему?.. Нет, я вовсе не пересмотрел взглядов на самого себя. Говоря «согласен», я по-прежнему считал, что ничего толкового не выйдет. И все же — почему

я согласился? Была одна мысль, не существенная на первый взгляд. Коротко сформулированная, она уложилась в пять слов: «Но ведь кто-то обязан решиться?» Этим «кто-то» мог оказаться семьянин, отец детей, прекрасный муж, сын, брат... жених, в конце концов! А Огюст? Ни кола ни двора, и сам себе хозяин. Одиноким прохожим в толпе из числа тех, что всегда берет два билета в кино и один предлагает незнакомой девушке. Только так почему-то случается, что девушка, видите ли, пришла с кавалером, и вот — сердце не камень! — ты отдаешь ей и второй билет, а сам бредешь домой, где ждут тебя книга и остатки завтрака, накрытые газетой.

Одиночество... Но нет, не оно было причиной, когда я сказал: «Согласен». Причина в ином, и, конечно же, поверьте, не в соображении, что дело, за которое я взялся, легче делать холодаку, нежели семьянину, озабоченному женой и детьми. Не в этом суть! Мое дело не профессия. Профессия — это что-то иное. Отоларинголог, электрик, продавец бакалейного товара, астроном, водопроводчик, наконец, — все они действуют, повинаясь своей разумной воле и дисциплине, получая денежный эквивалент труда и более или менее гордясь пользой, приносимой повседневно. Но вот канатоходец; это профессия? Или нечто иное, искусство, что ли, без которого, разумеется, человечество вполне способно обойтись, как рано или поздно оно обойдется и без специалистов вроде Огюста Птижана... Я гляжу в потолок и думаю, что если рассматривать мое дело как службу и только, то легко сравнить Огюста Птижана с профессиональным воякой, сражающимся, поскольку война — его ремесло... Ну уж нет, не так! Выбирая, я знал одно: я не профессионал, но меня мобилизовали на защиту раньше, чем миллионы солдат. Я защищаю общество и идею, и мне не до белых перчаток! Профессия? Нет. Осознанная необходимость, множенная на огромное до бесконечности понятие долга!

Вот оно главное — долг. Перед собственной совестью, людьми и идеями, без которых жизнь Огюста Птижана теряет смысл. Он держит меня в своих жестких, но разумных рамках, мешая сейчас разом избавиться от всего: опустошающих мозг допросов, предстоящей боли и медленной, изуверски затянутой смерти. Ах, как это красиво выглядит — броситься на Эрлиха и получить пулю! Эффектная сцена, требующая замерших от волнения зрителей и исполненных пафоса слов о грядущем возмездии убийце. Но если разобраться, то это был бы не героический финал, а паникерское бегство с передовой, та предпоследняя трусость, за которую расплатиться пришлось бы другим... 25 июля... До этого дня я обязан жить — и не просто выторговывать часы и сутки, но всеми средствами добиться того, чтобы дверь моей камеры приоткрылась хотя бы на толщину бумажного листа. Иначе подлинное грядущее возмездие отодвинется на миг или секунду и тысячи людей умрут, ибо каждый краткий миг войны оплачивается кровью... 25-е... А потом?... «Тот, кто ставит много целей, не достигает ни одной». Так сказал один мудрый человек, учивший Огюста Птижана уму-разуму в не очень отдаленном прошлом. Святые слова!

Но стоп, Огюст!.. Прошлые твои подобно туману, оно

почти эфемерно, и думать о нем все равно, что ловить ветер сачком... Девушка, многодетный «кто-то», причины и следствия... Было это или не было? Как знать... Скорее всего, ты все это выдумал, Птижан, — и про билет в кино, и о разговоре, закончившемся словом «согласен»... Да, Гаук прав: ты сумасшедший. С самого детства. Все, что было когда-нибудь с тобой, — ирреальность, бред, перемешанный с обломками бытия, искаженными свихнувшимся сознанием. Твердо помнишь ты лишь то, что Кло Бриссак живет где-то в одиннадцатом районе и у нее родинка на левой щеке.

«Не так уж мало!» — думаю я и, не поворачивая головы, улыбаюсь входящему в комнату Эрлиху. У него характерные шаги, чуть шелестящие, я различу их среди тысяч других.

— Как вы себя чувствуете? — говорит Эрлих и садится, закинув ногу на ногу. — Хочу вас обрадовать. Симон Донвилль действительно жила на улице Гренье. Ее семья съехала оттуда в сороковом. Консьерж припоминает, что месяца три назад его кто-то спрашивал о Симон. Остается уточнить несколько мелочей, чтобы убедиться, что мы с вами имеем в виду одну и ту же особу. Где она работала или училась?

— Симон?.. Она ушла из лица. Летний сезон проболталась на побережье, рисовала пейзажи, но дело не пошло, и она бросила живопись. А осенью, кажется в сентябре, подруга устроила ее манекенщицей в «Бон Марше».

— В универмаг?

Я вовсю стараюсь, чтобы ответ звучал гордо.

— Самый знаменитый в Париже, штурмбаннфюрер! Расположен на улице Севр и занимает целый квартал. Золя описал его в романе «Дамское счастье». Не читали? Да, универмаг, самый прославленный и самый старый, основан в 1852 году.

— Такая точность!

— Я польщен, штурмбаннфюрер.

— Пустое, Птижан. Просто я плачу дань вашим способностям. И вот еще что — обострите, пожалуйста, вашу память до предела. Сейчас придет Гаук, и мы сделаем маленький эксперимент, о котором договорились утром. Вы не станете возражать?

— Напротив, — говорю я любезно. — Здесь вы хозяин, действуйте не стеснясь.

— Разумно... Но не разумнее ли отбросить стыдливость и откровенно все рассказать? Если вы захотите, исповедь останется между нами... Понимаете, наш химик очень заинтересовался бумагой... той, что мы взяли в пансионе. Он утверждает, что на ней водяные знаки Ливерпуля и фактура характерна именно для ливерпульской... Так что ж, «правь, Британия, морями»?

— Ни в коем случае! «К оружию, граждане, равняйтесь, батальоны!» *

— Упрямство не приводит к добру... Входите, господа!

Фогель входит первым и, обогнув кровать, останавливается в изголовье. Покачивается с носка на каблук и, не сдержавшись, потирает руки. Для контрразведки такие, как он, не годятся. Слишком легко дают выход эмоциям, низкая организованность мышления, мстительность и связанная с ней повышенная само-

* Строчки из Британского гимна и французской «Марсельезы».

оценка. Эрлих из иного теста. Эрлих и Гаук. Им можно наплевать в лицо, наступить на мозоль, задеть за самое живое — глазом не моргнуть, стерпят... до известного часа, конечно.

Эрлих отстраняет Фогеля, ставит стул возле моей головы, садится и кладет руки на колени.

— Лежите смирнехонько, и все будет хорошо.

Гаук черными каучуковыми жгутами перехватывает мои запястья и, развернув левую руку ладонью вверх, привязывает концы жгутов к раме подматрасника. Белый халат его пахнет вальерьянкой и чем-то сладким, трупным.

— Валяй, клистирный мастер, — вяло говорю я, следя за тем, как тонкая игла шприца вонзается в набухшую вену. — Будь здоров, Циклоп, поверь, я и не шелохнусь...

— Что он несет? — спрашивает Фогель. — Уже действует?

Светлая жидкость в баллоне «Рекорда» убывает, облизывая деления. Гаук разжимает пальцы, и наполовину опорожненный шприц повисает, оттопырив вену иглой. Доктор накладывает руку мне на запястье, щупает пульс и издает довольное ржание:

— Все нормально.

Ничего особенного. Голова ясная, только тело горит. Жар постепенно подбирается к плечам, шее, перебрасывается на затылок и концентрируется там — круглый, пышущий, как шаровая молния. Почти приятно... Мне становится весело, и я показываю Гауку язык.

— А ты не дурак, — говорю я, и голос мой звучит музыкально. — А Циклоп... ой, не могу... Ну и сволочи же вы, господа! Боже мой, какие же вы все сволочи!.. И все вы боитесь будущего... Ведь так?.. Союзники придут в Париж и прихлопнут вас всех до одного. Слышишь, Фогель?

Меня распирает от желания смеяться и говорить. Я пьян, и понимаю это, и все-таки ничего не могу поделать. Я должен, обязан, я просто не имею права болтать пустяки — мне страшно нужно сказать Циклопу все, что я о нем думаю.

— Ха! — говорю я и захлебываюсь смехом. — Вот те на... Циклоп, ты думаешь, я шпион? Так оно и есть... Шпион, ну и что здесь такого? Я с детства любил подглядывать и всегда шпионил в классе для учителя...

Не так плохо. Но наркотик еще только начал действовать. Сколько еще я смогу контролировать себя?.. Минуту? Или чуть больше?.. Только бы не проговориться!

Эрлих кладет мне руку на голову и треплет волосы.

— Что же вы замолчали? Говорите. Циклоп — это я? Очень, очень метко, хотя и обидно... Ну, я слушаю вас.

В ушах у меня начинает шуметь. Кто-то поднес к ним огромную раковину, выплескивающую из горловины звуки прибора. Морре... Я гулял по берегу и собирал цветные камешки. Надо ли говорить о камешках?

— Значит, Циклоп? — повторяет Эрлих медленно. — Очень забавно!

Мозг мой намертво схватывает слово. Одно слово — Циклоп.

— Одиссей, — слышу я свой голос. — Я Одиссей... а ты Циклоп. И Гаук. И сукин сын Фогель...

— Одиссей?

— Ну конечно же... Это я...

— Это кличка? Прозвище? Имя по коду?

Эрлих говорит раздельно и настойчиво.

— Имя по коду?

— Одиссей и его Пенелопа.... Клодин Бриссак, Кло, у нее родинка на щеке.

Я говорю быстро и не могу остановиться. Слова сами по себе повисают на кончике языка и срываются с него каплями; я ощущаю вес и вкус капель; их много, сотни, и я не в силах ими управлять... И в то же время я — а может, не весь я, а только какая-то часть? — слышу себя со стороны и со страхом жду, когда вместе с другими сорвется капелька, обтекаемая, кругленькая — Люк... «Забудь о нем, Огюст!»

— У меня бред, — успеваю сказать я, чувствуя, что мне не удержать эту проклятую каплю. — Я болен... Одиссей доплыл... Не бывает сумасшедших шпионов... Не бывает. Мне говорили... что я болен...

Слишком много сил ушло. Я построил длинную и более или менее связную фразу, но больше не могу. Все летит в тартарары, а мне безразлично. Отупев, я смотрю, как Гаук надавливает на поршень шприца. Туман ползет на меня, скрывая его руку, стену... все...

Я что-то говорю. Мозг еще работает, в нем мерцает какая-то лампа, не выключенная наркотиком. Но себя я больше не слышу. Кто-то пишет в тумане яркими буквами «Кло Бриссак»; стирает и выводит новую — «Радист Люк, улица...»

И опять на миг я прихожу в себя, чтобы вытолкнуть в воздух бессмысленное: Циклоп, Гаук, Одиссей. Шаровая молния в затылке взрывается и погребает адрес и полное имя радиста... Сказал или нет?

4. ПОЧТИ ТОТ СВЕТ — ИЮЛЬ, 1944.

Сказал или нет? Совсем немного времени требуется, чтобы убедиться: сказал...

Эрлих встречает меня у дверей кабинета и молча указывает на кресло. Мягкая кожа, простеганная ромбиком, принимает Огюста Птижана и оседает, спружинив. Штурмбаннфюрер садится напротив. Он наряден и чуточку торжествен.

Какое сегодня число? Девятнадцатое?.. Меньше чем через неделю контрольный день в моем банке. Если я не явлюсь двадцать пятого и вместе с кассиром не обревизирую содержимое абонированного сейфа, трио в составе кассира, одного из директоров и бухгалтера вскроет его и сверит содержимое с описью. Таков порядок. Старинный порядок, заведенный на тот случай, ежели клиент заболел, умер или забыл нанести визит в контрольный день. «За последние двести лет, — сказали мне в банке, — у нас не было случаев пропаж. И все же мы установили контрольные дни — в интересах самих клиентов, естественно». Значит, в моих интересах... Черт бы драл всех этих господ, пекущихся о клиентуре. В данную минуту меня куда более утешило бы, если б в банке на протяжении двух последних столетий пропажи из абонированных сейфов стали массовым явлением. По крайней мере, тогда я мог бы надеяться, что из портфеля,

лежащего за семью замками, исчезнет тонкая пачка бумажек, читать которые совсем не обязательно служащим банка... Вся надежда на Люка. У него есть доверенность, и он знает защитный шифр. Люк говорил, что кассир — вылитый Дон-Кихот! — похоже, связан с Сопротивлением. Если Люка не допустят в хранилище, возникнет обидный парадокс — Дон-Кихот из франтиеров своими руками передаст гестапо частные бумаги Огюста Птижана, любая из которых будет стоит Огюсту головы!..

Эрлих мизинцем поправляет бутонарку и наклоняется ко мне.

— Ну как, выпались, Птижан?

— Голова, — говорю я. — Что за дрянь, которой меня пичкали вчера? Никак не могу протрезвиться.

— Кофе?

— Не откажусь.

Эрлих дотягивается до стола и придавливает фарфоровую кнопку звонка. Говорит Микки, сунувшей нос в кабинет:

— Два кофе, шарфюрер. И скажите Фогелю, чтобы позвонил мне через полчаса. Где Гаук?

— Откуда мне знать? — говорит Микки нелюбезно и трясет прической а-ля Марика Рокк. — Вечером он был в казино.

— Свободны, шарфюрер!

Микки с треском захлопывает дверь, а Эрлих, натянуто улыбаясь, поворачивается ко мне.

— Хорошая девочка, но никакого понятия о дисциплине. И притом мечтает об офицерских погонах. Ее отец старый член партии, начинал еще со Штрассером...

— Вы не боитесь?

— Упомянуть Штрассера?.. Что ж, сейчас не модно воздавать тем, кто почил после «чистки Рема». Карл Эрнст, Штрассер, Хайнес... Кое-кого из них я знал, а с Ремом работал в штабе СА. Я ведь из СА, Птижан. И, поверьте, мне приходится нелегко в СД. Случается, что коллеги косятся... и вот оно, следствие — шарфюрер Больц. Я не раз предупреждал ее, что не люблю, когда сотрудники без моего ведома общаются с руководством. Но что поделаешь: бригаденфюрер Варбург питает к ней слабость... Вы понимаете, что я имею в виду?

— Постель или доносы?

— Всего понемножку. Бригаденфюрер еще не стар. Больц давно получила бы повышение, если бы не Штрассер. В штабе СС слишком хорошо помнят, что партию создали он и Дрекслер, а не фюрер... И не всем это нравится...

— Сложное положение, — говорю я сочувственно.

Эрлих оживает.

— Вы так думаете? О, как вы правы!.. Бригаденфюрер считает людей СА вторым сортом и подчеркивает это на каждом шагу. А я терплю... Вы знаете, Одиссей, что значит для таких, как я, терпеть унижение? Молчать и говорить: «Так точно» и «Никак нет»? Варбургу, видите ли, не по душе мои методы. Старомодные и негермански гуманные! А Больц... Хотя что я — все это не слишком интересно. Не так ли? У нас с вами столько общих проблем, что пора перейти к ним. Вы согласны, Одиссей?

Я киваю и принимаю из рук вошедшей Микки чашку кофе. Вдыхаю крепкий аромат, но думаю не о кофе, а об Эрлихе. Из какого он теста? Я мало что знаю о штурмбаннфюрере: умен, в меру начитан, в меру культурен и вежлив. С претензией на оригинальность... Но кто и когда утверждал, что враг обязательно должен выглядеть кретином, этаким волосатой гориллой без проблеска мысли на челе?.. Меня подмывает спросить Эрлиха, где он потерял глаз. На Восточном фронте?..

— Вы воевали, штурмбаннфюрер?

— Да, во Франции. А потом я служил в зондергеррихте, Одиссей.

— Особый суд?

— Я юрист по образованию, доктор права.

— Берлин?

— Нет, Гейдельберг.

Юрист, доктор права, старый бурш и ни единого дуэльного шрама на лице. Об этом стоит подумать... Нет, он непохож на труса. Здесь что-то иное.

— Одиссей — это псевдоним? — быстро спрашивает Эрлих и достает из внутреннего кармана свежий платок. Проводит кончиком по губам.

— Собственного изготовления.

— Не понял?..

Коротко, чтобы не тратить драгоценного времени штурмбаннфюрера, я объясняю ему, что означают Одиссей и Циклоп.

— А Фогель?

— Так и живет безымянный. Знаете, не сложилось...

— Зовите его Хароном, — серьезно советует Эрлих и прячет платок. — Я не шучу. Фогель перевез на тот свет столько народу, что старина Харон лопается от зависти. У нас в СД, дорогой Одиссей, есть все — и река мертвых, и авгиевы конюшни, и свой столп — бригаденфюрер Варбург... Так вот, от вас зависит, с кем вы предпочитаете иметь дело, с Циклопом или Хароном.

— Так далеко зашло?

— Хуже некуда. Считайте сами. Фальшивый пропуск, пробелы в биографии, английские метки и радист Люк, живущий на улице...

— Это еще кто?

— Вы спрашиваете меня? — говорит Эрлих и поднимает брови. — Слабо даже для экспромта. Минута на размышление вас не устроит, Одиссей? А больше, честное слово, на таком вопросе не выиграешь.

— Но я не знаю никакого Люка!

— Так уж и не знаете? Полноте, Одиссей!

— Я уже сказал... Вы же не осел, Эрлих, и слух у вас отличный. Или не надо рассчитывать на вашу догадливость, а следует просто послать вас подальше?

— Рискните...

— Ну и подонок! — медленно и словно рассуждая вслух, говорю я. — В первый раз встречаю такого покладистого мерзавца. Ему хоть горшок с дерьмом на голову надень, он и то вы-

терпит! Еще чего доброго сочтет, что это рыцарский шлем, жалаванный за заслуги на турнирах.

Под конец я не выдерживаю, и почти кричу, и... трезвею от тишины. Эрлих, потирая серую щеку, долгой паузой, словно точкой, подводит итог моему взрыву. Мне и на этот раз не удалось вывести его из себя.

Губы Эрлиха складываются в высокомерную улыбку.

— Я не тороплю... Хотя... Слушайте, Одиссей! Давайте в открытую. Бригаденфюрер санкционировал третью степень — я возражал, но без успеха. Фогель позвонит мне, и, если вы не разговоритесь, ничьи молитвы не спасут вас... Согласен, о Люке вам тяжело начинать... Может быть, лучше займемся Клодиной Бриссак?

Кло Бриссак... Еще одна оплошность Птижана... Я никогда не знал ее и даже имени не слышал до того утра, когда Люк сказал мне, что Бриссак приедет из Тулузы и будет ждать на вокзале. В принципе я не должен был с ней встречаться, но так уж все совпало — связной слег, а тот человек в Тулузе отказывался брать что-либо, кроме фунтов стерлингов. От него шла хорошая информация, и Люк свел меня с кулисье; мы, поторговавшись, заключили сделку; мне посчастливилось с такси, и прямо от Триумфальной арки я поспел на вокзал — за минуту до отхода тулузского скорого. Деньги ухнули как в прорыв в бисерную сумочку Клодин, пожилой провинциалки с жидкими волосами, убранными у висков. В спешке я и не заметил, что один банкнот застрял в бумажнике... А на обратном пути меня взяли... Пока гардисты ногами выколачивали из Огюста Птижана признание о тайнике с валютой, старина Огюст успел такти вспомнить, что имя Клодин Бриссак записано им утром твердым карандашом типа «4H» на клочке газеты и что клочок этот, по всей видимости, остался в удостоверении.

Жалостливая история о бедном влюбленном, застрявшем в Париже, сулила передышку как минимум в сутки. Все-таки служба безопасности не каждый день сталкивается с молодчиками, признающимися, что они нелегально прибыли в оккупированную Францию из свободного Марокко. Эрлих поначалу клюнул на нее, но, увы, ненадолго. Фальшивые пропуска не продавались на «черном рынке», а если и попадались, то все в них было стопроцентной «бронзой» — от бланка до подписей. Мой же был на настоящем бланке, и лишь печать оказалась скопированной. Эрлих, строго глядя на меня сквозь очки, прочел заключение эксперта: «Печать исполнена с помощью наборного клише». Спросил: «Где вы его раздобыли?» Мне ничего не оставалось, как довольно быстро сознаться, что месяц назад в кафе я познакомился с девицей, причастной к Сопротивлению. Она пообещала найти мою невесту, используя связи в бывшей Зоне, а взамен попросила время от времени переносить какие-то пакеты с кладбища Пер-Лашез на вокзальную явку, где в качестве почтового ящика использовалось углубление в цоколе столба освещения. Мы действительно когда-то пользовались этим столбом и кашпо на могиле, и Эрлих, проверив, нашел углубление там, где положено. Дальше все шло своим чередом. «Имена, клички, связи?» — спросил Эрлих, и я выложил ему Кло Бриссак, двадцатидвухлетнюю красавицу.

Я считал, что это имя все равно известно гестапо: не могли же они проворонить клочок в удостоверении?.. И как же был я разочарован, вспомнив вдруг, что его там нет и быть не может: скатанную в шарик бумажку я выбросил еще на вокзале!.. Я пил светлое пиво, выставленное Эрлихом в качестве залога взаимопонимания, и, проклиная себя за обмолвку (зачем гестапо знать подлинное имя?), фантазировал относительно кафе и опознавательных знаков для randevu. Это был идиллический день, когда штурмбаннфюрер почти верил Огюсту Птижану и надеялся, что тот, дав ему связную, расскажет еще немало интересного.

Фарфоровый глаз Циклопа, словно пистолетное дуло, целит в мой лоб. Живой правый, с легкой косинкой, устремлен поверх моего плеча.

— Значит, Люка вы не знаете? — повторяет Эрлих и вздыхает. — Жаль... Не сумасшедший же вы в самом деле?

— Как знать, — говорю я.

— Да нет. Гаук не ошибается. Вы симулянт, Одиссей, и, кроме того, изрядная шельма! И все-таки вы все расскажете. Не мне — Фогелю. Мне вы больше не нужны... Жаль. Слово чести — жаль. Перед вами открывалась неплохая перспектива.

— Секрет?

— Да нет, пожалуй... Будь вы правдивы, мы завтра же расстались бы. Вы сняли б себе новую квартиру, объяснили людям отлучку — причину нетрудно придумать, — встретились с друзьями и зажили бы, как жили раньше. Время от времени мы виделись бы с вами и определяли дальнейший ход событий.

— Очень мило, — говорю я и выдавливаю улыбочку. — Где-то я читал, что это именуется перевербовкой.

— Дело не в термине.

— Конечно. Потому-то я и настаиваю, что приехал из Марокко за невестой. Вы же убедились: она жила на улице Гренье.

— Да, жила. Еще одна загадка: откуда вам известно имя той, что сбежала еще в сороковом? Вы были в Париже тогда?

Да, Эрлих не простак. Дай ему только вцепиться в шкуру, и он доберется до шеи. Мне и в голову не пришло, что эпизод с отъездом семьи Донвилль обыграется таким вот образом.

— Браво! — говорю я. — Отличный ход, Циклоп!

— Не пытайтесь меня злить.

— Но вам же не нравится... Не врите, Эрлих, и не играйте в непробиваемость. Циклоп — это вас бесит! Ох как бесит!

— Нисколько, — говорит Эрлих спокойно, и я понимаю, что он не притворяется. — Оружие слабого — издевка. Последняя соломинка...

Телефон на столе — один из четырех полевых квакушек АЕГ — зуммерит протяжно и требовательно.

— А вот и развязка, — говорит Эрлих и берет трубку. — Штурмбаннфюрер Эрлих! Я искал вас, Фогель. Прихватите Гаука и спускайтесь вниз. Сейчас Одиссей догонит вас...

С полминуты он вслушивается в писк, доносящийся из трубки, потом прикрывает чашечку микрофона и доверительно склоняется ко мне. Шепчет:

— Фогель спрашивает, кто такой Одиссей? Объяснить? Или

лучше сделать ему сюрприз? — И в микрофон: — Сами увидите, штурмфюрер!

Еще минута уходит у Эрлиха на то, чтобы вызвать конвой, подписать бумажку о моей передаче с рук на руки, встать и самому распахнуть дверь.

— В случае чего, проситесь прямо ко мне, Одиссей. Я буду у себя до глубокой ночи. Советую не затягивать.

Ковровая дорожка в коридоре багрова, словно пропиталась кровью. Дорога на эшафот...

— Сюда, — говорит эсэсовец и подталкивает меня к боковой лесенке. — Не расшибись, здесь крутые ступени.

Дверь — большая, окованная железом. Шляпки гвоздей украшены наконечниками. Кольцо, за которое берется рука конвоира, свет, слова:

— Хайль Гитлер! Штурмфюрер, один арестованный в ваше распоряжение!

Очень много света от трех ламп под потолком. Темные балки с ввинченными в них крюками. В свое время в подвале, подвешенные за крюки, хранились окорока, колбасы и пармезан в сетках. В подвале еще и сейчас пахнет сыром.

Даже если я выдержу все, двадцать пятого кассир вскроет сейф в банке. Он связан с Сопротивлением, милый Дон-Кихот, но инструкция и присутствие директора и бухгалтера заставят его передать портфель в Булонский лес. Два листка шифрованных записей. Одна надежда, что они окажутся не по зубам криптографам гестапо!..

Я даю Фогелю усадить себя на табурет и бессмысленно разглядываю лежащие на эмалированном подносе инструменты. Кусачки, изогнутые щипцы, какие-то спицы с хромированными наконечниками. Гаук, приветственно помотав головой, щупает пульс, сверяясь с часами.

— Я думал, вы психиатр, — говорю я.

— Чему не научишься! — говорит Гаук и отпускает мою руку. — Прекрасный пульс. Можете начинать, Фогель.

Мой палец и спица. Боли нет, только красная капля появляется на кончике фаланги и опадает, лопается, заливая ноготь. Я отдергиваю было руку, но она прихвачена браслетом к скобе на столике, а сам столик врыт в бетон пола... Разве то, что я чувствую, можно назвать болью?!

— Где живет Люк? — слышу я. — Где живет Люк?

Гаук вытягивает из воротника длинную шею. Кадык его безостановочно снует вверх, вниз и снова вверх. Глаза гауптштурмфюрера расширяются, ноздри трепещут. Он впивается лапой в плечо Фогеля и без усилий отбрасывает его в сторону. В свободной руке Гаука изогнутые щипцы. Я не мог оторвать от них взгляда и кричу, когда щипцы захватывают ноготь и сдергивают его вместе с мясом.

5. ПРОСТО ОДИН ДЕНЬ — ИЮЛЬ, 1944.

Щипцы захватывают ноготь и сдергивают его вместе с мясом. Стук инструментов, падающих на поднос. Крик. Лицо Фогеля и его тяжелое дыхание... Сон повторяет явь, и я, открыв глаза,

правой, целой еще рукой стираю пот со лба. Левую руку крючит от долгой несмолкающей боли. Словно кто-то дернул за басовую струну, заключенную в теле, и заставил ее вибрировать...

— Ты жив, Огюст? — спрашиваю я себя, и голос Эрлиха отвечает мне:

— Сомневаетесь, Птижан? Напрасно!

— Штурмбаннфюрер... Какая честь, — бормочу я, не имея сил приподняться. — Располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома.

Циклоп сидит боком у меня на ногах и, не глубоко затягиваясь, попыхивает сигареткой. Он в полной форме: черный мундир, серебряный витой погон на плече, довольно толстая колодка орденских планок и Железный крест второго класса у левого кармана.

— Закурите?

— Нет... Никотин вредит здоровью... А впрочем, черт с вами, давайте!

Эрлих лезет в карман и извлекает сразу две пачки — целую и начатую. Щелчком вытряхивает тоненькую «Реетсма», раскуривает ее и сует мне в рот. Похоже, что и другой карман набит сигаретами — что-то остроугольное оттопыривает его.

— Открываете лавочку, Циклоп?

— Вы о чем?

— Боковые карманы... табачный запас...

— Все остриете? Лежите спокойно и старайтесь поменьше говорить. Гаук осматривал вас ночью и сказал, что сердце ни к черту. Еще один сеанс — и крышка.

— Скорее бы, — говорю я без тени иронии.

— Все мы смертны. Гаук едва вытащил вас. Адреналин, кофеин, камфора.

— Не помню.

— Странно было бы, если б помнили! Вы лежали пластом и были бледны, как херувим.

Эрлих кончиком пальца стряхивает пепел на пол. Сдувает крошки с рукава мундира. Золотые очки подпрыгивают на его длинном породистом носу.

— Послушайте, Птижан, — говорит он очень тихо. — Вы не могли бы проявить любезность и не называть меня Циклопом? Не очень-то приятно, когда подчеркивают твой недостаток, а? Согласны?

Поистине что-то перевернулось в этом мире! Я с изумлением всматриваюсь в физиономию Эрлиха. Физиономия как физиономия. Спокойная; нос, искусственный глаз, тонкие бледноватые губы — все на месте, как и полагается. И все-таки происходит что-то странное. Сам воздух комнаты словно бы наполнен расстроенной в нем тревогой.

— Вы что, свихнулись, Эрлих? — говорю я с прорвавшейся ненавистью. — Да мне на... на ваши переживания! Или это ход? Новый ход, придуманный вами? Гуманизм, старомодные методы — это было. Попытки тоже. Переходим на интеллектуальную платформу? Так?

— Нет, — говорит Эрлих и проводит рукой по лицу, словно умыв его. — Вы здорово ненавидите меня, Птижан?

— Разумеется!

Эрлих давит сигарету о спинку кровати. Искры падают на одеяло, и по комнате ползет пронзительная вонь.

— Что-нибудь неясно? — спрашиваю я и, забыв о левой руке, пытаюсь пожать плечами.

Попытка дорого обходится мне. Басовая струна, вибрирующая между ладонью и ключицей, натягивается и срывает меня с места. Боль выгибает тело дугой, и стон сам собой процеживает-ся сквозь зубы... Левая рука оплетена бинтом, как заготовка скульптора. На белом — коричневое, ржавое, окаймленное расплывшимся розовым; вчера я потерял сознание окончательно, когда Гаук содрал третий ноготь.

— Воды?

Струна все еще вибрирует, и я мотаю головой: ко всем чер-тям!

— Выпейте же. Вот упрямец! — Эрлих подносит к моему рту фаянсовую кружку. Зубы стучат о край; вода льется на подбородок, шею, грудь, неся холодок и облегчение.

— Лежите спокойно, Птижан, и помолчите. Глупо пикироваться в вашем положении. Может быть, немного соснете?

— Чего вы хотите, Эрлих?

— Пока ничего.

— Хотел бы верить... Или нет? Или все-таки цель у вас есть? Почему бы вам, например, не сообщить, что вы — в душе, конечно! — симпатизируете мне? Или не попробовать доказать, что штурмбаннфюрер Эрлих — хорошо законспирированный сотрудник Интеллидженс сервис? Я ведь поверю. Тем более если вы шепнете мне какой-нибудь пароль, полученный под третьей степенью от прежних жильцов этой вот комнаты!

— Значит, не поверили бы? — задумчиво говорит Эрлих. — А что, если я скажу, что у доктора прав Эрлиха есть свои расхождения с господином фюрером и рейхсканцлером?

— Боже, как это свежо! Особенно сейчас, когда высадка стала фактом, а союзники вот-вот войдут в Париж.

— В Париж? До этого еще далеко, Птижан. Гораздо дальше, чем вы думаете. Да и не здесь решается судьба войны. Попомните мои слова. Фюрер сказал...

— Фюрер? У вас же с ним принципиальные расхождения, Эрлих! Вы на редкость непоследовательны.

Резкая морщина в виде буквы «фау» выпячивается на лбу штурмбаннфюрера.

— Подождите, — говорит он резко и поднимает руку. — Все не так примитивно, Птижан. Наберитесь терпения и послушайте... Вы — шпион. Английский или американский, а вполне возможно, французский или НКГБ. Доказательств «за» у меня целый ворох: фальшивые документы, признание о радисте, нелегальный переход границы, английские деньги... что еще? Не то что зондергеррихт, но любой имперский суд не поколеблется, вынося приговор... Другой вопрос — как вы держитесь? Если не считать двух-трех ошибок, вполне пристойно. Больше того, ваше вчерашнее молчание дало мне право уважать вас. Фогель и Гаук не часто срабатывают вхолостую... А теперь обо мне. Вы ждете, Птижан, что я скажу: война проиграна, и начну рвать рубаху. Не так. До конца далеко, и фортуна изменчива...

Но вот такая история. Мой отец — вам не скучно, Птижан? — был очень здоровым и сильным человеком. Не помню, чтобы он болел. И еще он был очень экономным, мой дорогой отец. Он работал на картонажной фабрике Брюнинга обер-мастером и получал шестьдесят марок в неделю, и однажды рассудил, что глупо, не болея, вносить двадцать марок каждый месяц в страховую кассу. «Я положу их на твою сберкнижку, Карл», — сказал он мне и так и сделал. Мы все радовались: отец, мать, сестра и я. Больше всех я, само собой. Но вот — слушайте внимательно! — пришел день, и стряслась беда. Понимаете, все предначертано и все подчинено закону подлости. В цехах у Брюнинга гуляли сквозняки — держать двери открытыми дешевле, чем поставить принудительную вентиляцию, а господин Брюнинг, заметьте, был не меньшим экономом, чем мой драгоценный фатер. Словом, сквозняк, отец не сберегся... и три месяца пневмонии с несколькими кризисами. Врачи, койка в больнице, препараты, сиделка... Тут-то и выяснилось, что отец поторопился выйти из страхкассы. Нам пришлось самим, без чьей-либо помощи, заплатить все до последнего пфеннига! Где сбережения, где моя сберкнижка? Мало того, мать изрядно пораспродавалась, а сестра...

— Пошла на панель? — безжалостно заканчиваю я.

Эрлих на миг теряется.

— Выл..

— Да нет, это я к слову. Обычно у сентиментальных историй с моралистическими сюжетами бывают вот такие концы. Если я ошибся, примите мои поздравления: рад буду узнать, что ваша сестра уберегла невинность.

— Это пошлости!

— Конечно, — соглашаюсь я, в который раз удивляясь выдержке Эрлиха. — Но и ваш рассказ не менее пошел. Вот его мораль: застрахуйся, даже если уверен, что все будет отлично... Короче, хотя вы и считаете, что война не проиграна, все-таки вам не терпится получить свой полис на случай того-сего. Но я не агент по страхованию!

— Это все, что вы поняли? — устало говорит Эрлих. Он делает паузу и добавляет: — Как вам пришло в голову, что я собираюсь просить? И кого? Вас?

— Меня, — говорю я просто. — Только труд напрасен: я не из Лондона и, конечно же, не из Москвы... И вот что — убирайтесь вон!

— Хорошо, — говорит Эрлих и встает. — Я попробую...

— Что попробуете?

— Уйти. Возьмите сигареты, могут пригодиться...

Нервным коротким движением Эрлих бросает на одеяло коричневую мятую пачку «Реемтсма» и, расправив плечи, идет к двери. Стучит. Дверь не сразу открывается, и в освещенном проеме вырисовывается неправдоподобно огромная фигура солдата вермахта в полевой форме и с автоматом на груди.

— Что надо?

Вот это фокус! Я пялюсь во все глаза, не в силах постигнуть смысла происходящего.

— Я хотел бы выйти, — говорит Эрлих, и руки его бессильно свисают вдоль мундира. — Позовите фельдфебеля.

— Запрещено, — отрезает солдат и отталкивает штурмбанн-фюрера в глубину комнаты. — Назад! И не стучать больше!

— Хорошо, — говорит Эрлих и поворачивается на носках. Плечи его опущены.

— Что это? — спрашиваю я, когда дверь закрывается.

Эрлих возвращается к кровати и, присев, тянется к пачке. Вытряхивает сигарету и, не закулив, крошит ее в пальцах.

— Что происходит?

— Не знаю, — тускло говорит Эрлих и сыпает табак на пол. — Я, как и вы, под арестом.

Для провокации слишком сложно: рассказ с намеком — это еще укладывается в стандарт; но сцена с переодеванием, мнимый арест — слишком смахивало бы на фарс. Что-то тут не то. Но что именно?

Мысленно я снимаю шляпу перед собой и раскланиваюсь, воздавая по заслугам чутью, еще час назад уловившему в атмосфере комнаты еле ощутимый привкус тревоги. Браво, Огюст!

— В чем вы провинились?

— Ни в чем, — говорит Эрлих, выкрашивая новую сигарету. — Я и сам ничего не понимаю. Вермахт появился в два сорока пополудни, и нам едва дали собраться. Приказ Штюльпнагеля.

Он вплотную наклоняется ко мне, обдав запахом свежего белья.

— Птижан... Я скажу вам то, чего нельзя говорить... Не знаю, правда ли это, но у империи новый рейхсканцлер.

— Что?

— Тише... Ради бога, тише... Вот прочтите. Майор из штаба Штюльпнагеля вручил нам всем приказ. Под расписку.

Бледные фиолетовые буквы пляшут у меня перед глазами. «Приказ... 1. Безответственная группа партийных руководителей, людей, которые...» Мимо! Дальше! Что там? Вот: «...группа... пыталась использовать настоящую ситуацию, чтобы нанести удар в спину нашей армии и захватить власть в своих интересах». Переворот? Но кем он совершен? Дальше, Огюст! «2... правительство... объявило чрезвычайное положение и доверило мне все полномочия главнокомандующего...» Кем подписано? Не спеши, Огюст, по порядку. «3... вся власть в Германии сосредоточивается в военных руках. Всякое сопротивление военной власти должно быть безжалостно подавлено. В этот смертельный час...» Подписано: «Германской армии генерал-фельдмаршал Витцлебен...»

— Переворот? — говорю я. — Ай-яй-яй! Что ж вы не застрелились, Эрлих? Смерть от пули, утверждают, приятнее, чем в петле! Или вы сомневаетесь, что Гимmlера повесят? Сдается мне, армия не очень любит рейхсфюрера СС и, конечно же, не замедлит вздернуть его, а рядом с ним — и верных его сподвижников.

«Фау» на лбу Эрлиха становится багровым.

— Не ликуйте, Птижан, — говорит он любезно. — Все вернется на круги своя. И раньше, чем вы думаете. Мы, люди СД, будем нужны любой власти.

— А я-то думал, что вас арестовали!

— Так оно и есть... и в то же время мой арест ничего не значит. Заметьте, мне удалось устроить так, чтобы попасть имен-

но к вам, а не в соседнюю комнату или подвал. Не все потеряно. Понимаете...

Конец фразы я пропускаю мимо ушей. Вопросы куда более серьезные, нежели риторика штурмбаннфюрера, теснятся в голове. В Германии переворот. Военные у власти. Что это означает? Капитуляцию? Ни в коем случае. Скорее всего сепаратный мир на Западе, все силы — на Восток. Только так... А где обожаемый фюрер? Прихлопнули?

— Который час? — спрашиваю я механически, не в силах увязать все, столь внезапно свалившееся на Огюста Птижана и, признаться, ввергнувшее его в некоторую растерянность.

— Двадцать три с минутами.

— Сутки...

— Вы о чем?

— Сутки назад я был в подвале. А теперь штурмбаннфюрер Эрлих сидит здесь и сам ждет, не спровадят ли его в помещение с крюками под потолком. Там превосходные крюки, выдержат и быка.

Этой издевкой я прикрываю разочарование, охватившее меня при мысли, что некая идея — чертовски скользкая! — о которой я думал вчера и позавчера и трое суток назад и в которой заметное место отводилось Эрлиху, вдруг разом обесценилась. От того, что военные дорвались до власти, Огюсту Птижану не станет легче. СД, абвер ли — какая разница? Вся штука в том, что у меня нет сил начать с новым следователем долгий путь, пройденный с Эрлихом...

Эрлих снимает с руки часы и трясет их над ухом.

— Стоят, — говорит он с оттенком изумления. — Черт побери, до чего я распустился: забыл завести! Сейчас не двадцать три, Птижан, а больше. Может быть, глубокая ночь... Вы любите ночи, Огюст?

— Утро мне милее.

— Не скажете, ночью тоже хорошо. Темно. Часы привидений и самых смелых фантазий. Мрак помогает вообразить себя всемогущим и бессмертным. Недаром все великое и тайное рождается под покровом темноты.

— Прошлой ночью в подвале я этого не заметил.

— Пеняйте на себя, Одиссей! Кто заставляет вас молчать?.. Мой бог! А знаете, Огюст, ваше упорство действительно импонирует мне. Если все станет на места, у нас найдется случай вернуться к этой теме и к притче. Идет?

— Поживем — увидим, — говорю я, прислушиваясь к вибрирующей струне. Она натягивается и растягивается, и физиономия Эрлиха качается, увеличивается в размерах.

«Не смей, Огюст!» — приказываю я себе и прикусываю губу. Сильнее. Еще сильнее. Только бы не обморок! Только не забыть, в бреду которого Огюст Птижан способен сказать много лишнего. Один к тысяче или один к миллиону, что солдат и бумажка с фиолетовыми буквами — фальшивка, атрибуты фарса, изобретенного Эрлихом, чтобы добиться контакта со мной. Но даже если один на миллиард, Огюст Птижан обязан вычислить величину этого шанса и принять его в расчет.

— Не молчите, Эрлих! — прошу я и подтягиваюсь повыше. — Поправьте, пожалуйста, подушку. Вот так... Нет ли у вас в запасе

новых историй? Расскажите мне о Микки; кто она такая, эта шарфюрер Больц?

Шум, невнятный, нарастающий, с вкрапленными в него головами и клецаньем металла, возникает за дверью, что-то глухо валится; оханье, возня; железный хруст замка — и Фогель на пороге.

— Штурмбаннфюрер!

Эрлих разгибается и роняет сигарету.

В полуотворенную дверь мне видно, как трое в черном волокут упирающегося солдата. Огромные сапоги, посверкивая сбитыми подковками, цепляются ногами за выбоины в полу, скребут его; солдат глухо мычит и однообразно охает под ударами.

— Фогель!

Звучный стук сомкнувшихся каблучков. Пронзительное:

— Нашему фюреру... Адольфу Гитлеру — зиг хайль!

— Зиг хайль! — слабым эхом откликается Эрлих и вскидывает руку к плечу. — Зиг хайль! Зиг хайль!

Рот Фогеля перекошен. Штурмфюрер на грани протрации, и слова выбрасываются из него сами собой — отрывистые и наэлектризованные.

— Он жив! Он жив, штурмбаннфюрер!.. Заговор... Рейхсминистр Геббельс выступил по радио... Я первым вырвался — и за вами! Сразу же!.. Штюльпнагель — предатель!

Эрлих разводит плечи в геометрическую прямую; машинально отработанным жестом поправляет портупею.

— Спокойно, штурмфюрер. И ни слова больше! Поднимемся наверх, и вы расскажете все по порядку.

Подбородок Фогеля заостряется: он тянется изо всех сил, не замечая, впрочем, что непослушные ноги перекатывают тело с каблучка на носок, пляшут джигу.

— Сигареты, — говорит Фогель. — Вы забыли сигареты. На одеяле...

— Пусть остаются. Ловите спички, Птижан!

Коробок сухо брякается на пол, опережая новую порцию фраз.

— Все-таки, Фогель, мы с ним коротали не один час. Это тот уникальный случай, когда солдат фюрера имеет право проявить снисходительность к врагу. Идемте, Фогель!

Ну и денек!.. Я, конечно, не в восторге от подвала с крюками, но там хоть все ясно. Ни малейшей неопределенности. А сегодняшние неожиданности, не поддающиеся быстрому истолкованию и анализу, кого угодно сведут с ума. Особенно если учесть, что арест Эрлиха обращал в прах идею Огюста Птижана... Хрупкую идею, надо сознаться; но что поделаться, если другой нет и, как ни прикидывай, похоже, не предвидится.

6. «ТУМАН НАД КАРДИФФОМ» — ИЮЛЬ, 1944.

Да, другой идеи нет и, похоже, не предвидится. Я ломал голову над ней несколько суток и ломаю сейчас, когда мосты сожжены. Так уж я устроен: даже решив что-нибудь, не могу сразу преодолеть колебаний...

— Вы рассказываете, Одиссей?

В голосе Эрлиха звучит предостережение. «Не советую вилять!» — расшифровываю я и, озлившись, отвечаю резче, чем следует.

— Лишь бы вы не ушли в кусты!

— Что с вами? Нервничаете?

— Имея вас союзником, легко потерять покой.

— Не преувеличивайте. Не так я страшен, как кажется.

— Еще бы! О крюках в подвале и иголках я всегда вспоминаю с умилением.

— Полноте, Одиссей! Надо же было убедиться, что вы умеете молчать... Может быть, позвоните отсюда?

— Слишком много людей. Поехали... Кстати, о молчании. А если Фогель возьмется за вас, вы-то выдержите?

— Сомневаетесь?

— Сомневаюсь, — серьезно говорю я и глубоко затягиваюсь сигаретой. — Почему вы курите такую дрянь, Эрлих? Сушая трава! Вот что, когда доедем до бульваров, купите мне пачку «Житан». Два франка, не разоритесь.

— Ничего, — говорит Эрлих насмешливо. — Я вычту их из сумм, отобранных у вас при аресте. Вы не против?

— Помнится, несколько дней назад в кафе вы упрекали меня в мелочности. Оказывается, я вправе дать вам сто очков вперед... Который час?

— Без трех девять.

— Доедем до угла и остановимся. Там бар, а в баре телефон. — Я пойду с вами. И давайте договоримся: без сальто-мор-тале. Я неплохо стреляю и...

— Можете не продолжать, — говорю я и выплевываю окуроч в окно. Красный светлячок отлетает в сторону, выбросив на лету маленький снопок искр, и исчезает — Эрлих ведет «мерседес», не сбавляя скорости.

Мелкая отвратительная дрожь, родившись внизу живота, подбирается к плечам; правой рукой я баюкаю левую — безобразный белый кокон, подвешенный на бинте. Боль и озноб сопровождают меня третьи сутки подряд, отпуская ненадолго и возвращаясь вновь, цепкие, как клещ. Сдается мне, что Огюст Птижан начинает температурить... Этого еще не хватало!

Голубые неоновые буквы БАР глубоко упрятаны под широкий козырек: дань войне и ее черному ангелу — авиации, распластывающей над ночным Парижем свои алюминиевые крылья. Бомбардировок не было, но боши, очевидно, считают, что береженого бог бережет.

— Я пойду с вами, — повторяет Эрлих.

Нос, щеки, очки штурмбаннфюрера, окрашенные неоном, слабо светятся во мраке салона машины. Рукой в перчатке Эрлих небрежно поворачивает баранку, и «мерседес», осев на задние колеса, с ходу замирает, прижавшись к тротуару.

— Хорошо, — соглашаюсь я беззаботно, словно речь идет о пустяке. — Дистанция — двадцать шагов.

— У меня с детства скверный слух.

— Вот как? И все-таки чего не случается! Верите ли, но я знавал мальчишку, который с задней парты слышал, о чем шепчутся на первой.

— Редкая способности!

— А вдруг и вы небесталанны? Вдруг номер телефона и мси слова войдут в ваши уши и застрянут там?

— Хорошо, — говорит Эрлих с раздражением. — Мы же договорились... В баре есть второй выход?

— Конечно.

— Извините, Птижан, но я люблю гарантии. Подождем четверть часа.

Полевой «симменс», ребристый и остроугольный, вклинен на сиденье между мной и Эрлихом. Прижав к уху трубку, штурмбаннфюрер свободной рукой поворачивает выключатель радиотелефона; несколько раз прижимает кнопку зуммера.

— Здесь — Эрлих!.. Шесть человек в машине к бару «Одеон» на улицу Савойяров... Да, шесть человек. Я жду у входа: «мерседес» — номерной знак ЦН семь — ноль один... Повторите!..

— Это не по правилам, — укоризненно говорю я, когда Эрлих кладет трубку в зажимы. — Хорош подарочек!

— Побег заключенного тоже не презент.

— С чего вы взяли?

— Наш роман только начинается. Согласитесь, Огюст, обидно было бы расстаться на самом интригующем этапе.

Я делаю оскорбленную мину и демонстративно отодвигаюсь, забыв, что в темном салоне Эрлих не увидит моего лица. В общем, все идет более или менее нормально. Наберемся терпения на пятнадцать долгих минут. Ждать — это я умею.

— Вы бывали в «Одеоне»? — спрашивает Эрлих и протягивает мне портсигар. Я нащупываю сигарету и, не закуривая, сую ее в карманчик пиджака.

— Нечасто.

— Здесь весело? Хорошие вина?

— Как и везде. С вашим приходом в Париже заметно поскучнело.

— Война, Птижан. В Берлине тоже танцуют нечасто.

— Охотно верю!

— Опять? — говорит Эрлих и сердито дует на спичку, крохотное пламя пригибается, лижет его палец. — О черт!.. Слушайте, Птижан, это крайне неразумно — на каждом шагу демонстрировать ненависть к нам. Особенно сейчас.

— Разве? А мне казалось, что молекулы обожания так и струятся из меня. Странно, что вы этого не почувствовали.

Маленькая пикировка всегда скрашивает ожидание. Темный «хорьх» появляется гораздо раньше, чем я предполагал, и сердце Огюста Птижана, не подготовленное еще к встрече, словно бы замирает, чтобы секунду спустя забиться в ритме там-тама.

— Штурмбаннфюрер!..

Слава богу, это не Фогель. Его мне меньше всего хотелось бы увидеть в нашей компании. Кажется, это один из тех, что ездили с нами в кафе.

— Трое станут у входа, — негромко говорит Эрлих, — а трое у задней двери. Поищите во дворе и постарайтесь не перепутать прислугу бара. Никакого шума. Не хватает только, чтобы посетители приняли нас за облаву и начали прыгать из окна. Вы поняли?

— Да, штурмбаннфюрер.

— Ну дерзайте, Птижан!

— Который час?

— Девять десять.

Отличное время, Люк должен быть в кафе «Лампион». Если, конечно, после моего ареста он не исчез, оборвав все связи. Так тоже может быть, и тогда Огюсту Птижану придется худо.

Разом ослепнув и оглохнув, я выбираюсь из машины и на слабых ногах бреду к зеркальной двери «Одеона». Эрлих поддерживает меня под локоть.

Темные тени и пятна — должно быть, те трое, матовая плоскость, слабо освещенная изнутри, писк двери, скользящей на роликах, и вот мы входим в царство зеркал, плюша и прочей забытой мною роскоши. Запах скисшего вина, обычный запах скверного бара, бьет мне в нос.

Бар «Одеон» — не путать с рестораном, носящим то же имя! — третьеразрядное заведение, и швейцара здесь не полагается. Посетители, скупое тратающие франки на выпивку, обязаны сами открывать и закрывать двери. Единственно, кто встречает их, — гардеробщица, всегда немного пьяная и фамильярная. Ее зовут Жужу — вполне подходящее для такого заведения имя. Мы почти знакомы: раза три я сидел в «Одеоне», коротая одинокие вечера. При желании я мог бы уйти с Жужу, как любой из посетителей, но не делал этого и, одеваясь, совал Жужу десять франков просто так. Поэтому она сразу же узнает меня и, игнорируя присутствие Эрлиха, восклицает с восторгом:

— Алло, Пьер!

— Огюст, — поправляю я.

— Ах да, конечно же... Огюст... Давненько ты не заходил. Дела?

— Пишу поэму, — сообщаю я и треплю Жужу за подбородок. — «Житан» найдется?

— Для тебя всегда!

Эрлих корректно берет меня за локоть.

— Кто эта милашка?

Жужу словно и не слышит. Она привыкла, что обнаженные плечики и маленькая, обтянутая блузкой грудь вызывают повышенный интерес, и научилась отличать настоящих клиентов от ненастоящих. Эрлих — ненастоящий. Сунув мне сигарету, Жужу наконец снисходит и до штурмбаннфюрера. Булавка в галстук и запонки — три приличные жемчужины — производят переворот в ее отношении к нахалу, осмелившемуся сказать «милашка». Правильное произношение Эрлиха с легким акцентом и длинный нос наталкивают маленькую прозорливицу на почти правильный вывод.

— Твой друг из Эльзаса? — спрашивает Жужу. — Скажи ему, чтобы не приставал. Скажет тоже: «мила-а-ашка».

— Ладно, — говорю я. — Все в порядке, Жужу. Телефон работает?

— А что ему делается.

— Я позвоню, а вы поболтайте.

Я уверен, что Эрлих теперь прилипнет к Жужу и постарается вытянуть у нее все, вплоть до адреса. Разумеется, любые подробности он мог бы узнать и завтра, через людей из Булонского

леса, но ставлю сто франков против окурка, что штурмбанн-фюреру не терпится поразнохотать, в каких отношениях состоят Огюст Птижан и гардеробщица из «Одеона».

Покачиваясь от слабости, я добираюсь до столика в дальнем углу и плюхаюсь на золоченый диванчик. Телефон стар, как Ной. Обколупленный черный ящик, украшенный фигурной вилкой и покоящийся на четырех птичьих лапках. В допотопной, давно не чищенной трубке долго шуршит и потрескивает, и голос телефонистки едва пробивается сквозь помехи.

— Монпарнас! Говорите номер!

— Алло, мадемуазель, — сиплю я, прикрыв микрофон ладонью и искоса присматривая за Эрлихом, интимно беседующим с Жужу. — Норд — две тройки — семь — пять.

Только бы не переспрашивала!.. Нет, обошлось.

— Соединяю.

Париж — столица мира, но так и не удосужился перейти на автоматическую связь. В другое время мне это не мешало, но сейчас я проклиная телефонную компанию и советников мэрий, не исхлопотавших в свое время кредитов на реконструкцию.

— Кафе «Лампион».

Ну, господи, благослови!

Отгородившись ладонью от всего мира и от Эрлиха в особенности, я торопливо говорю:

— Кафе? Алло! Соболаговолите позвать мсье Маршана. Да. Мсье Анри Маршан, художник. Он должен быть в синем зале...

Из трех залов «Лампиона» — синего, зеленого и красного — Люк почему-то предпочитает первый... Пока швейцар пускается на поиски Анри, буркнув в трубку: «Подождите!», я продолжаю наблюдать за Эрлихом и гадаю, услышал ли он хоть слово. Нет, пожалуй. Жужу смеется так, что у Эрлиха должно заложить уши.

Голос Люка возникает в трубке, стряхивая скалу с души Птижана. Вполне свободно могло быть так, что Люк раз и навсегда переменял адреса. Волна благодарности к другу, верящему в меня до конца, захлестывает мое слабое сердце и лишает дар речи.

— Эй, — слышу я. — И долго будем молчать?..

Долгий шуршащий звук — очевидно, Люк дует в трубку.

— Да говорите же!

— Анри?

— Кто это?

— Анри, это я. У меня всего пара минут...

— Огюст?!

Только бы не бросил трубку!.. Будь Огюст Птижан на месте Анри Маршана, он так бы и сделал и к тому же немедленно настрил бы лыжи из кафе. Судите сами: звонит человек, пропавший среди бела дня и, судя по всему, арестованный гестапо, и сообщает, что у него «пара минут»...

— Ну я слушаю, старина!

Словно гора с плеч!..

— Не повторяй ни слова из того, что услышишь, — говорю я, мысленно умоляя Жужу смеяться погромче. — Когда кончим разговор, немедленно уйди из кафе. Переберись на аварийную квартиру. Думаю, что гестапо сейчас переворачивает вверх дном Центральную, отыскивая нас с тобой на линии. Понял?

— Да. Это все?

— Нет. Слушай, Анри. Свяжись с Центром и добейся, чтобы третьего августа Би-Би-Си в первой утренней передаче на Францию вставило фразу: «Лондонский туман сгустился над Кардиффом». Запомнил?

— Да. Слушай, а ты-то где?

— «Лондонский туман сгустился над Кардиффом», — повторяю я настойчиво. — Если фразы не будет, считай, что я окончательно засветился. Двадцать пятого возьми портфель. Понял, Анри?

Краем глаза я вижу, как Эрлих обходит Жужу и делает шаг к столику. Между нами метров десять расстояния, и я еще могу успеть сказать несколько фраз.

— Немедленно уходи!

— Откуда ты говоришь?

— Я арестован, — отвечаю я и слышу короткое «о!» Люка. — Если до пятнадцатого не дам знать о себе, работай один. «Почтовый ящик» — резервный.

Я кладу трубку на вилку и пальцем сдергиваю вниз тугой узел галстука... Кажется, удалось... Уложился ли я в две минуты?.. Эрлих, вероятно, поручил своим людям взять разговоры под контроль. Весь фокус в том, успеют ли слухачи за сто двадцать секунд не только установить, с кем соединен «Одеон», но и натравить гестаповцев на кафе. Вряд ли. За две минуты при самой отличной мобильности, при самых быстрых авто и самых тренированных агентах не осуществить операцию по блокированию «Лампиона» и захвату лица, чьи приметы неизвестны. Люк должен успеть уйти!..

— Все как надо? — говорит Эрлих.

Я киваю и нашариваю спички. Где-то у меня должна быть крепкая «Житан», полученная от Жужу.

— Ваши, конечно, слушали разговор? — говорю я, прикуривая.

— Не будьте ребенком, Огюст. Нет, конечно. Он одинаково опасен для нас обоих. Неужели вы не догадываетесь?

— Ладно, — говорю я и с силой затягиваюсь. — Поехали?

— Пора. Забавная штучка эта Жужу.

— Дайте ей десять франков. От меня.

— Вот, возьмите.

Эрлих протягивает мне две бумажки, которые я, выходя, сую в передник разочарованной Жужу.

— Уже? — спрашивает она.

— Я же сказал: пишу поэму. Ни грамма свободного времени, Жужу!

В «мерседесе» Эрлих сует мне синюю пачку «Житан».

— Цените. Купил для вас у этой шлюхи.

— Она не шлюха.

— Толкуйте, Огюст!.. Впрочем, бог с ней. Значит, третьего августа?

— «Лондонский туман сгустился над Кардиффом», — медленно говорю я и поворачиваюсь к Эрлиху. — Довольны?

Штурмбаннфюрер возится с зажиганием.

— Нормальная сделка, — говорит он минуту спустя, когда мотор наконец заводится.

«Нормальная сделка». Как для кого. Вжавшись в подушку сиденья, я размышляю об этом... «Да нет, — успокаиваю себя. — Все было логично, Огюст. Четверо суток ты держался — наркотик, подвал, задушевная исповедь в день покушения на Гитлера, все-то ты прошел и не заговорил. У Эрлиха, пожалуй, нет оснований не верить тебе. Хотя бы на пятьдесят процентов. Когда ты попросился наверх и, представ пред ним, предложил разговор с глазу на глаз, он не был удивлен. Он ждал такого разговора, верил, что он будет. По его логике почва была удобрена, и Огюст Птижан обязан был воспользоваться соломинкой для спасения жизни».

— С глазу на глаз? — сказал тогда Эрлих. — Не поздно ли?

— В самый раз, — заверил я его.

Потом, когда я в общих чертах изложил свои соображения, он позволил себе выразить недоумение:

— Вас так заботит престиж?

— Еще бы! — сказал я горячо. — Мы выиграем войну, что бы ни случилось. И мне не улыбается попасть под полевую суд и быть повешенным в Уондевортской тюрьме.

— Почему именно в ней?

— Традиции, сэри! — сказал я по-английски. — Британия очень консервативна в своих привычках.

— Ладно, — сказал Эрлих угрюмо. — Это дело нужно обдумать. Такие вещи я не решаю сам.

Он позвонил и справился, у себя ли Варбург.

— Спросите бригаденфюрера, примет ли он меня.

Ни следа легкомыслия, остреньких разговорчиков — все прочно, обстоятельно, солидно.

— Через два часа мы вернемся к нашим баранам, — сказал Эрлих и отправил меня в подвал, откуда извлек с нордическим педантизмом именно через два часа, ни минутой позже.

— Сейчас вас побреют и оденут, Птижан, — сказал Эрлих, нервно поправляя очки. — Я не хотел бы вести беседу здесь. Мне разрешено совершить с вами прогулку. Куда бы вы хотели поехать? В Венсен?

— Все равно.

Эрлих сам правил «мерседесом»; нас не сопровождали. Я не рассчитывал на подобную снисходительность и спросил Эрлиха: к чему бы это?

— С такой рукой не убежишь, — сказал Эрлих и любезно улыбнулся. — И вам не справиться со мной. Если же вы начнете выкидывать кунштюжи, я пристрелю вас, как это ни прискорбно.

— А Варбург?

— Что Варбург? Молчащие агенты противника не представляют для него цены.

На окраине Венсена, к югу от дворца, Эрлих въехал в лес и остановил машину. Достал портсигар и, пересчитав сигареты, протянул мне одну.

— Коньяк был бы уместней, — сказал я.

— Будет и коньяк, — заверил Эрлих серьезно. — Ну выкладывайте.

Я повторил ему предложение — слово в слово.

— Слишком сложно! — ответил Эрлих, подумав. — Варбург с меня шкуру спустит, если разберется в подоплеке.

— Дело ваше. Но другого предложения не будет.

— А что выиграю я?

— Слушайте, Эрлих! Вы же сами хотели начистоту? Извольте... Вы умны и понимаете, что конец рейха — вопрос времени. Или я наивный чудаковитый, плохо угадывающий смысл притчи, или вам нужен полис. Так?.. Вы смелы, но осторожны, Эрлих. Хотите скажу, как я это угадал?

— Ну?

— Шрамы. Бурш без шрамов на лице — это нонсенс. Бурш-юрист — нонсенс вдвойне. В университетах Германии юристы известны как самые отчаянные забияки после медиков.

— Допустим...

— Полис для вас в моих руках, так же как мой — в ваших. Я предлагаю союз. Прочный и взаимовыгодный.

— Проще будет, если вы назовете ваших людей, и мы, повременив, возьмем их, так сказать, перманентно. Вам я устрою побег — мнимый, разумеется, — вы доживете до конца в ореоле славы. Аресты же отнесут на счет того, кто станет первым в вашем списке. Я сам составляю документы.

Дверца была распахнута; я сорвал былинку и растер ее в пальцах, печальный запах травы прилип к коже... Запах родной земли Одиссея.

— Ну нет! — сказал я. — К тому дню, когда вы возьмете третьего или пятого, Лондон получит сто шифровок с предостережением: Птижан предает. Соглашайтесь, Эрлих... Или нет? Впрочем, мне плевать. Подвалом с крюками вы меня не напугаете.

— Пожалуй...

— За чем же остановка? Мне надоело повторяться, но для вас я готов и сто раз подряд растолковывать идею. Слушайте! Вы выпускаете меня, и я работаю под вашим контролем. Для виду я сообщаю Лондону, что сумел завербовать крупного гестаповца, пекущегося о своем будущем после войны. Мотив вербовки таков, что ему поверят. После высадки многие немцы покрупнее вас чином дорого дали бы за гарантии с нашей стороны. Получив согласие, я использую вас как источник. Вы даете хорошую дезинформацию и иногда подлинные данные, чтобы мой босс не переполошился. Затем я осторожно ввожу вас в игру, замыкая связи и даю возможность гестапо убрать всех, кем оно интересуется. Провалы мы спишем на промахи в конспирации и организационные издержки. Варбургу не обязательно знать, что ваше сотрудничество со мной будет так сказать двойным, как и мое с вами. Для него автором комбинации будете вы, а целью ее — проникновение в резидентуру Птижана и разгром ее, когда вся организация будет «накрыта шляпой».

Эрлих расстегнул пиджак. Булавка в галстук радужно засветилась под солнцем. После того дня, когда Витцлебен и его коллеги чуть не свернули шею фюреру, а Штюльпнагель арестовал парижских гестаповцев, Эрлих в первый раз предстал предо мной в штатском. Двое суток Огюста Птижана не спускали в подвал и не поднимали на допросы, если не считать получасовых вызовов по чисто формальным поводам — все те же Мар-

ракеш, путь из Мадрида в Барселону и из Барселоны в Марсель... Если я правильно истолковал этот прозрачный намек, Эрлих выжидал, когда Птижан наконец среагирует на притчу. Я томил его сорок восемь часов — вполне достаточно, чтобы набить себе цену.

— План неплох, — сказал Эрлих и резко притянул меня к себе. — Все на месте, если это Лондон! Где гарантии, что именно Лондон, а не Москва? Или деголлевцы? С ними я не веду переговоров.

— Слишком мелко?

— Не то. Французы — побежденная нация. Они будут мстить.

— Я дам гарантии, — сказал я, не меняя позы. — Придумайте фразу и назначьте день, когда вы хотели услышать ее по Би-Би-Си.

Тогда-то Эрлих и произнес, не особенно задумываясь, глуповатую-таки фразу про лондонский туман и назвал дату — третье-го августа. Это была первая и единственная ошибка, допущенная им. До нее все шло гладко, и Огюст Птижан мог верить, что идея принадлежит ему, а не сработана Эрлихом и Варбургом. Не поторопись Эрлих с заготовленной комбинацией слов, я в конце разговора бросился бы на него и заставил бы пустить в ход пистолет. Только так! Ибо Огюст Птижан не имел права затевать игру с гестапо — игру, в которой заранее ему была отведена роль проигравшего... Обмолвка Эрлиха меняла дело, хотя и не исключала риск... Риска оставалось сколько угодно.

— А Варбург? — спросил я. — Странно, он даже не поговорил со мной.

— А зачем? — был ответ. — Бригаденфюрер уверен, что вы мелкая сошка, связанная с Сопротивлением. Козьявка, несущая бог весть что. Я так его ориентировал, а Гаук добавил, что вы сильно смахиваете на душевнобольного. Потому-то мне и удалось доказать, что самое правильное будет подлечить вас и выпустить, посадив в сачок... Когда вы свяжетесь с Лондоном?

— Мне нужно позвонить...

— Идет, — сказал Эрлих решительно. — Пусть это будет первым вкладом в наш пул.

— Акции пополам? — спросил я и засмеялся.

— И дивиденды тоже, — в тон закончил Эрлих.

...«Успел ли уйти Люк?» — думаю я, припав плечом к дверце «мерседеса»; Эрлих ведет машину с сумасшедшей скоростью. Темные улицы проносятся за стеклом, патрульные мотоциклы уступают дорогу. Мы возвращаемся в Булонский лес, сделав первый шаг по пути к неизвестности. Отныне Огюст Птижан «посажен в сачок». Найдется ли в нем дырка, чтобы выбраться наружу? На этот вопрос у меня пока нет ответа.

7. ЕСТЬ ЛИ ДЫРКА В САЧКЕ! — ИЮЛЬ — АВГУСТ, 1944.

Итак, отныне Огюст Птижан «посажен в сачок». Найдется ли в нем дырка, чтобы выбраться наружу? На этот вопрос у меня пока нет ответа... Двадцать пятое июля, двадцать седьмое... тридцатое... Дни идут за днями, однообразные и изматывающие. Раз в сутки Эрлих присылает конвой, и я поднимаюсь наверх,

где выслушиваю набившие оскомину вопросы и выкладываю протокольные стереотипы. Словно сговорившись, мы не касаемся Венсенского леса, «Одеона» и джентльменского соглашения, заключенного с благословения Варбурга. Фогель и Микки присутствуют при допросах, и я замечаю, как методично и умело Эрлих вдалбливает им в головы, что Огюст Птижан — мелкая сошка, случайный для Сопротивления человек, которым если и приходится заниматься, то скорее по инерции, нежели в силу особой необходимости. Микки просто бесится, в десятый раз записывая мой рассказ об обстоятельствах знакомства с семьей Донвилль и приметах Симон, моей невесты. Фогелю Эрлих поручил составлять запросы, и тот ежедневно приносит ворох официальных бумажек из префектур, в коих значится, что интересующие гестапо Донвилли в данных департаментах не проживают. Нудная работенка и бесплодная, поскольку члены семьи благополучнейшим образом перебрались в Касабланку еще в ноябре сорокового. Впрочем, это известно Птижану; для Фогеля же судьба Донвиллей — книга за семью печатями.

Одновременно Фогель занят поисками спекулянта, продавшего Птижану бумажку в два фунта, но и здесь дело стынет на мертвой точке, ибо приметы кулисы, сообщенные мною, с равной долей вероятия можно отнести к доброй половине мужского населения Парижа, а заодно и к самому Фогелю — среднего роста, худощавый, хорошо одевается.

Эрлих нарочито избегает оставаться со мной наедине; он не торопится, понимая, что третье августа так или иначе поставит точку в конце затянувшейся главы. Не сомневаюсь, что Варбург из неведомого мне далека пристально следит за всем происходящим и тоже ждет. Он ведет беспроигрышную игру. Фраза в передаче Би-Би-Си надежнее любого признания Птижана удостоверит гестапо, что перед ними агент Лондона, и не просто агент, но эmissар достаточно высокого ранга, способный заставить правительственную радиостанцию включить в официальную программу галиматью о лондонском тумане. Такое бывает нечасто!

По указанию Эрлиха меня снабдили изрядным запасом «Житана» и толстых крепчайших «Голуаз», и я, излагая свои легенды, окуриваю кабинет штурмбаннфюрера отнюдь не фимиамом. После безвкусных «Реетсма» черный табак «Житан» доставляет страстному курильщику Птижану несказанное удовольствие. Не меньшее наслаждение получает он и от того, что по прошествии нескольких суток после двадцать пятого из банка, судя по всему, ничего не передали гестапо, и, следовательно, Люку удалось-таки получить портфель. Ради одного этого стоило затеять возню по сколачиванию пула «Птижан — служба безопасности».

Словом, у каждого из нас свои интересы, и все мы, запасшись терпением, ждем третьего августа.

Одно только плохо — рука. Она болит, и по ночам я скриплю зубами, лежа на спине и глядя в потолок, на котором дремлют, собравшись вокруг лампы, мухи и анемичные бабочки. Как они проникают в заколоченное окно — загадка, но факт остается фактом, и камера переполнена разнообразными чешуйчатокрылыми, навязывающими Огюсту Птижану свое общество. Я рас-

сматриваю их и — в который раз! — думаю об игре, авторами которой в равной степени являемся мы трое — Эрлих, бригаденфюрер Варбург и я.

Я сосу «Голуаз» и размышляю. О чем? Обо всем понемногу. О женщине, так и не ставшей моей женой. О том, что в случае чего Люк возьмет дела в свои руки и Центр не останется без информации. Таблицы связи, лежавшие в портфеле, действуют с первого августа. Без них рация Люка онемела бы, но теперь все в порядке. Даже если Птижану суждено умереть, Анри Маршан сумеет постепенно восстановить группу. У него есть кончик нити — Кло Бриссак. От нее — звено к звену — Люк доберется до остальных. На это уйдут недели, может быть, несколько месяцев, и все же группа не распадется...

...Нет, все-таки «Голуаз» тоже изрядная гадость! От них дерет горло, а вкусовые пупырышки на языке каменеют, обращаясь в наждак... Я выплевываю окурок и зажигаю «Житан» — эти чуть послабее. Вообще-то я люблю трубочный табак, выдержанный в меду, но с ним Огюсту Птижану пришлось расстаться, равно как и с множеством привычек, навыков и пристрастий. Говоря «согласен!», я наряду со многим прочим обрекал себя и на воздержание. Умные люди несколько месяцев учили меня тому, как легче расстаться со старым багажом и приобрести новый. Были тысячи способов, годившихся вроде бы на любой случай, но оказавшихся при ближайшем рассмотрении неприменимыми ко мне... О милый Огюст — неповторимая ты индивидуальность! Сколько мучились с тобой товарищи, толкуявая то и се и частенько становясь в тупик от твоих недостатков! И тем не менее ты многому сумел научиться!..

«Да ты хвастунишка, Огюст!» — говорю я с удивлением и пытаюсь заставить себя заснуть. Последняя ночь. Ночь со второго на третье. Чем встретит меня утро?

Дым под потолком слоисто колышется у лампы, окутывая млеющих мух. Стекланная колбочка с раскаленным добела волоском источает жар и порождает атмосферные микробури, крохотные потоки, вихри и самумы. Совсем иная буря разразится над Огюстом Птижаном, если утреннее радио не передаст, что лондонские туманы сгустились в Кардиффе. Эрлих не пойдет на то, чтобы вторично устроить экскурсию в «Одеон». Семь еще целых пальцев Птижана обеспечат Фогеля работой часа на два, а затем он изобретет еще что-нибудь и еще, пока Огюст либо заговорит, либо помешается от боли... Однако и сообщение Би-Би-Си само по себе не значит, что все о'кэй! Варбург и Эрлих полагают, что нашли удачное средство поводить Птижана за нос. Я словно бы присутствовал при том, когда они совещались и Эрлиху удалось доказать бригаденфюреру, что игра в кошки-мышки закончится благополучным финалом, в коем главная мышка приведет кота к своим сородичам и кот славно пообедает. Неудача с наркотиком и «третьей степенью» гестапо занесло себе в пассив и трезво подытожило, что при такой раскладке нет смысла полагать, будто Птижан развяжет язык. Держать в руках резидента и не добиться ничего — за это со штурмбаннфюрера жестоко спросят на берлинской Принц-Альбрехтштрассе. Кальтенбруннер или кто-нибудь иной воздадут ему не лаврами, а терновым венцом... А ведь так

хочется лавров!.. Вот то-то и оно!.. Как он старался, Эрлих, внушая мне мысль, что готов при благоприятных обстоятельствах перекинуться на сторону британского льва! Даже не зная, чем кончится для него двадцатое июля, он все-таки вел свою линию, и притча о страховке, рассказанная как раз тогда, когда судьба штурмбаннфюрера висела на волоске, должна была убедить Птижана в искренности повествователя. Хороший класс работы... Мудрено ли, что Птижан пал в объятия? Представляю, как ликовал Эрлих, выслушивая меня! Резидент Интеллидженс сервис предлагает игру, в которой оба участника выступают в качестве двойников. Отлично! Предложение принимается, и пусть Птижан обольщает себя надеждой, что штурмбаннфюрер Эрлих согласен стать осведомителем англичан. Пусть «сидит в сачке» и выводит гестапо на след своих коллег. Чем черт не шутит, не удастся ли в итоге захватить канал связи с Лондоном целиком в свои руки и, до поры сохранив резидентуру в неприкосновенности, пичкать через нее СИС* порциями дезинформации. Такая игра может длиться долго, а когда в Лондоне спохватятся, то хлоп — сачок превращается в нож гильотины, и головы Птижана и его соратников отделяются от туловищ... Одно неясно до конца: Лондон ли стоит за Птижаном или кто-нибудь другой? Отсюда «Одеон» — беспроеигрышный ход, обставляемый так, словно Эрлих смертельно рискует.

«Пожалуй, все правильно, — думаю я, поглаживая ноющую руку. — Непонятно лишь, почему Эрлих так старательно устраняет Фогеля из игры. Бойтся? Но ведь за штурмбаннфюрером стоит Варбург!.. Что-то здесь не так, Огюст!»

...Я засыпаю, чтобы тут же открыть глаза, поднятый с постели за шиворот.

— Хватит дрыхнуть! Подъем!.. Да поднимайся же, скотина!

Во сне я только едва успел пригубить чашечку какао и еще чувствую его вкус у себя на губах.

— С вещами!

Эрлих или тюрьма Френ? Не случилось ли чего-нибудь — этакой пустяковины, не предусмотренной Птижаном и вызвавшей катастрофу?

Вместе с эсэсовцем в камере благообразный господин в штатском. Черные брови и седые элегантные височки.

— Криминаль-секретарь Хюбнер, комендант, — представляется он и делает знак солдату СС. — Отпустите его. Где ваши вещи?

— Все мое при мне, — говорю я.

— Зубная щетка, мыло, кружка?

— Не обзавелся.

— Это ваши деньги? Документы? Пересчитайте!

На кровать шлепается бумажник, отобранный у Птижана при аресте, удостоверение, расческа, носовой платок. Холодными пальцами я торопливо открываю отделения: немного франков, визитные карточки, локон в пластмассовом пакетике, двухфунтовая бумажка.

— Если все в порядке, распишитесь.

Изящным. «Монбланом», вернувшимся ко мне вместе с други-

* СИС — Сикрет интеллидженс сервис — английская разведка.

ми вещами, царапаю подпись в углу плотного полулиста, заполненного машинописным текстом. Чернила успели засохнуть, и перо скребет бумагу.

— Осторожнее, — говорит криминаль-секретарь и отгибает рукав. — Без двадцати семи восемь... Не забудьте дату.

По знакомой лестнице, каждая ступень которой известна мне лучше собственных черт, я взбираюсь вверх. На предпоследней ступеньке есть коварная ямка, и все-таки Птижан ухитряется, помня о ней, споткнуться и чуть не полететь кубарем. Эсэсовец, помянув черта, придает Огюсту вертикальное положение и, больно прищемив локоть пальцами, ведет по коридору, по мрачной бордовой дорожке.

Дверь. Еще одна... Кабинет Эрлиха.

— Стой спокойно! Лицом к стене.

Я поворачиваюсь, а эсэсовец стучит и, дождавшись ответа, бубнит в комнату из коридора:

— Штурмбаннфюрер! Один арестованный в ваше распоряжение.

— Пусть войдет!

И я вхожу. Стол, полевые телефоны, кресла — одно против другого, шикарный, весь в полировке «телефункен» на столе и Эрлих, привстающий мне навстречу со своего места.

— Здравствуйте, Одиссей. Садитесь.

Эсэсовец все еще торчит в дверях, и Эрлих, спохватившись, меняет гостеприимный тон на командный.

— Свободны!

Шторы на окнах отдернуты, и серый утренний свет стелется по натертому паркету. Я иду к креслу, пачкая дубовые квадраты пыльными отпечатками, и сажусь, почти падаю в мягкое кресло... Приемник работает, негромко бормочет, перемежая речь музыкой; зеленый зрачок светится, как у кота на охоте.

— У нас три минуты, — говорит Эрлих. — Всего-навсего три, Одиссей. Будет над Кардиффом туман, вы получите лист бумаги и напишете краткий отчет о работе в Интеллидженс сервис. Очень краткий. Для подробного я создам вам условия... Ну и, разумеется, подписка. Я, такой-то, обязуюсь и так далее. Кстати, теперь я могу узнать ваше имя?

— Вам нравится — Стивенс?

— Фамилия не из редких.

— Меня устраивает, а на оригинальность я не претендую... Но подписок не будет!

— Поговорим потом.

Из нас двоих Эрлих волнуется больше. Второй раз за эти дни я замечаю, что движения его становятся суетливыми, а речь отрывистой... Приемник перемешивает музыку с морзянкой, потрескивает, а большие напольные часы за спиной Эрлиха подтягивают минутную стрелку к девятке.

— «Бам-бам-бам... Бам!» — выбрасывает приемник. И снова: «Бам-бам-бам... Бам!» Колокол Биг-Бена, позывные Британской радиовещательной корпорации.

— Хотите пари? — шепчет Эрлих.

Я сердито мотаю головой.

— Дурной тон.

«Бам-бам-бам... Бам!» И наконец: «Говорит Лондон! Дорогие

радиослушатели, Би-Би-Си начинает передачу для Франции. Вы услышите в нашей программе обзор текущих новостей, ответы на вопросы, репортаж о церемонии в Кентерберийском соборе. В заключение — симфонический джаз под управлением...»

Эрлих, покосившись на дверь, приглушает звук. Встает из-за стола и неслышным шагом пересекает комнату. Резко поворачивает ручку, и Микки едва не влетает в кабинет. При этом лицо ее ухитряется сохранять выражение сосредоточенности, губа прикушена.

— Шарфюрер Больц! — негромко говорит Эрлих. — Вы что-нибудь забыли? — Он делает паузу и повышает тон. — Вон отсюда!

— Да, штурмбаннфюрер, — лепечет Микки и — от растерянности, что ли? — делает книксен.

Эрлих притворяет дверь и — руки в карманах — возвращается к столу. И вовремя. Обзор текущих новостей Би-Би-Си не длиннее хвоста карликового терьера. После паузы диктор, с жестковатым акцентом выговаривая французские слова, переходит к ответам на вопросы. Собственно, этот раздел — гвоздь утренней программы, ибо «ответы» — форма связи лондонского руководства с резидентурами Интеллидженс сервис во Франции.

— Мадам Дюроше спрашивает, — вещает диктор. — Каков прогноз на последнюю декаду августа? Отвечаем: август ожидается прохладным, с дождями и ветром...

«Дюроше, — думаю я. — Мне-то что за дело?» Мадам вполне свободно может на поверку оказаться террористом из первой секции МИ-6 или усатым интеллектуалом из группы сбора политической информации... К Огюсту Птижану ответ, адресованный мадам, совершенно очевидно, не имеет отношения... Без особого внимания я вслушиваюсь в продолжение: «Таким образом, туманы распространятся на всю северную часть острова, включая графства...»

— Это не для вас, — шепчет Эрлих и прибавляет звук.

— Не мешайте! — говорю я.

— Передачу все равно записывают...

«...и в частности, — заключает диктор, — лондонский туман сгустится над Кардиффом. Мы особенно подчеркиваем это, мадам Дюроше: лондонский туман сгустится над Кардиффом!»

...Ну вот и все... Я напоминаю себе шар, из которого выпустили воздух. Я так долго ждал. И теперь, когда фраза произнесена, — в самом первом сообщении! — глубокое равнодушие приходит ко мне.

— Поздравляю, Стивенс! — говорит Эрлих и выключает приемник.

Снимает трубку телефона.

— Бригаденфюрер у себя? Здесь — Эрлих! — Пауза. — Только что передали, бригаденфюрер! — Снова пауза. — Ах, вы сами слышали? Я приказал записать. — Еще одна пауза. И энергичное: — Само собой! Да, бригаденфюрер. Хайль Гитлер!

Трубка с клацаньем укладывается в гнездо.

— Что с вами, Стивенс?

Чужое имя режет мне слух.

— Ничего, — отрубаяю я и тяжело перевожу дух.

— Понимаю... Но ведь все обошлось!

— Могли и не успеть.

Это правда: именно о том я и думал. Я не сомневался ни в Люке, ни тем более в Центре, но техника есть техника, а Лондон изрядно далеко.

— Хотите капельки, Стивенс? — насмешливо спрашивает Эрлих.

— Примите сами, — огрызаюсь я и вожусь со спичками: «Житан» никак не хочет раскуриваться.

— Ах, мадам Дюроше, что за тон! Чем дерзить, лучше поинтересовались бы, какую квартиру снял вам ваш друг Эрлих. Пальчики оближете. В центре, четвертый этаж, и окна на тихую улицу. Три прекрасно меблированные комнаты, ванная, газ, телефон...

— И слухачи на проводе.

— Само собой!

— И полдюжины побегушечников перед дверью и в заднем дворе.

— Что поделаться...

— Остается предположить, что в передней поселитесь вы сами и будете спать у порога?

— За шутку такого сорта стоило бы вас наказать, но я не мстителен. И — учтите — я совсем не намерен навязывать свое общество. Предлагаю иное: прелестная горничная, она же экономка и ангел-хранитель. Ни за что не догадаетесь, кто она!

— Микки?

— Ну что за интуиция! Пинкертон и тот зарыдал бы от зависти... Хочу предупредить: у Микки один недостаток — она крайне любознательна. А в остальном просто клад: мила, покорна и домовита. С ней у вас хлопот не будет, благо, что бригаденфюрер просветил шарфюрера Больц о границах уступчивости.

«Житан» наконец раскурился, и я, полюбовавшись струйкой дыма, позволяю себе в свой черед воздать Эрлиху по заслугам.

— У вас божий дар быть сводней. Или нет?

Эрлих выпрямляется в кресле и складывает руки перед собой. Костяшки сцепленных пальцев белеют, а живой глаз, увеличенный стеклом очков, темнеет.

— Это последняя выходка, которую я прощаю... Хватит! Берите бумагу, Стивенс, и за дело! Пишите. «Я, Огюст Птижан, состоящий на службе в Секрет интеллидженс сервис под именем Стивенса, добровольно и без нажима, руководствуясь личными соображениями, даю настоящую подписку в том, что обязуюсь постоянно информировать отдел IV-E5-5 Главного управления полиции безопасности и СД Германской империи о заданиях, получаемых мною от английской разведки, технических и иных средствах, передаваемых ею мне, и лицах, о деятельности которых в пользу стран — противниц Германской империи мне станет достоверно известно...» Да, не ошибитесь в наименовании отдела: первая цифра римская, остальные арабские... Что вам не нравится?

— Чертовски смахивает на одностороннюю перевербовку. Вот что я вам скажу!

— Без подписки Варбург не выпустит вас живым... Я все сказал, Стивенс!

Я и сам знаю, что все. Однако считаю нужным поторговаться. Англичане упрямы, и контрразведки всех стран мира осведомлены о том, что агенты СИС, как никто другой, умеют обставить свой переход на службу к конкуренту элегантным торгом.

— Вы загоняете меня в тупик, — говорю я с видимым колебанием.

— Никакого тупика! — возражает Эрлих. — Чистая проформа. Вы же знаете...

— Этот документ...

— Будет похоронен в моем сейфе. Слово чести, Стивенс!

Я скриплю пером, выводя строчки. Узкий почерк с наклоном влево. Острые окончания букв. Эксперты должны удостоверить, что текст исполнен в английской манере письма. Перечитав написанное, я ставлю подпись и число. Помахиваю листком, высушивая чернила.

— Я перееду сегодня?

— Да, к вечеру. Врач осмотрит вас, а из «Бон-Марше» привезут костюм.

— Мне можно будет выходить?

— Конечно. Вас будут провожать... не мешая...

— Согласен. А теперь ответьте все же на тот вопрос, который недавно задавали вы сами: что выиграл я?

— Тс!.. Экий вы, право!

Штурмбаннфюрер выходит из-за стола и говорит, понизив голос до предела:

— В вашей новой квартире нам не помешают... Фрейлейн Больц!

Урок, как видно, был не впрок. Микки появляется в комнате с быстротой, свидетельствующей, что она не покидала коридора.

— Знакомьтесь, — говорит Эрлих безмятежно. — Огюст Птижан — ваш патрон. Лотта — ваша секретарша. Надеюсь, вы познакомитесь.

Лотта Больц безмолвствует, и Огюст Птижан догадывается, что из всех врагов, с которыми он имеет дело, Микки, пожалуй, самый прямолинейный. Эрлих и здесь не промахнулся, подсовывая покупателю товар с гнильцой...

8. ФОГЕЛЬ И ЗОЛОТОЕ РУНО — АВГУСТ, 1944.

Товар с гнильцой. Иначе Микки не назовешь! Белый передник и накладка не придали ей обаяния, а французские фразы, с грехом пополам складываемые ею, звучат как унтер-офицерские команды. В платье и должности полугорничной-полусекретаря Лотта Больц продолжает чувствовать себя шарфюрером СС — личностью, принадлежащей к касте господ. Кажется, она всерьез удивляется, почему Огюст Птижан не испытывает священного трепета, когда она по утрам бесцеременно входит в спальню и сдергивает одеяло со словами: «Вставайте к завтраку!» В первый раз я вежливо посоветовал ей стучать, прежде чем входить, а во второй сообщил, что если она не последует совету, то мне придется пустить в ход брючный ремешок. Это был единственный случай, когда Микки засмеялась.



— Лотта, — сказал я назидательно и поднял палец, — вы не боитесь остаться без места? Любое терпение имеет пределы, и, видит бог, я дам вам расчет.

Ответа не последовало, и я принялся размышлять, кем была шарфюрер Больц до поступления в отдел Варбурга? Служила в «Организации немецких девушек» или в концлагере?

При всех недостатках Микки далеко не глупа. У нее хватает ума не спорить в открытую, а в части практической сметки она даст фору экономнейшей из французских домоправительниц. Завтраки, приготовленные ею, точнейшим образом соответствуют моему аппетиту: когда я встаю из-за стола, на тарелках не остается ни крошки, но в то же время я при всем желании не втиснул бы в желудок и кусочка сверх отмеренной Микки порции... Покончив с завтраком, Микки принимается за уборку; квартира вылизывается до блеска, кухонная утварь надраена и сияет; чехлы на мебели сидят, как мундир на сверхсрочнике.



Рисунки Г. ФИЛИППОВСКОГО

Веник и щетка сменяются на спицы — все свободное время шарфюрер Больц вяжет носки и напульсники. Образцовая немецкая женщина: «кухня — дети — церковь». Лицо ее разглаживается и становится нежным и юным; она почти красива, когда орудует спицами, нанизывая петли. «Жениху? — спросил я. — У вас есть кавалер, Лотта?» Микки не сразу удостоила меня ответом. «Для наших солдат!» — сказала она, обойдя вопрос о женихе.

Дважды в день звонит Эрлих, и Микки преображается.

— Да, штурмбаннфюрер! Все в порядке, — рапортует она, стоя навытяжку перед телефоном. — Нет, он ни на что не жалуются... Да, штурмбаннфюрер!

Рука моя никак не хочет заживать. Багровые бугры, вздувшиеся на месте содранных ногтей, сочатся сукровицей и гноем. Гаук, озабоченно сморщившись, накладывает новые повязки и делает обезболивающие уколы. Без них я не мог бы спать... Повязки дурно пахнут; пальцы все больше и больше распухают, и у меня закрадывается мысль — не гангрена ли это?

— Пустяки, — по обыкновению ржет Гаук, обнажая желтые прокуренные зубы. — В крайнем случае оттяпем пару кусков мяса, и дело с концом.

Он приезжает вечером с лицом, розовым от выпивки. Штат-

ский костюм сидит на нем мешковато, шляпа заломлена на затылок. Распутывая бинты и манипулируя шприцем, он не снимает черных перчаток. По-видимому, у гауптштурмфюрера СС доктора медицины Гаука свои представления об антисептике.

Ближе к ночи появляется Эрлих. Микки вносит машинку — портативный «мерседес», и я третьи сутки подряд диктую отчет о своей работе в СИС. Там, где Огюсту Птижану не хватает знаний, он не без успеха прибегает к фантазии, в результате чего, например, невинный номер «А» в бельэтаже отеля «Анфа» в Касабланке превращается в конспиративную квартиру резидентов СИС в Алжире. Особенно интересует штурмбаннфюрера все, что касается функций «французской секции» Сикрет интеллидженс сервис и МИ-9 — организации, занятой агентурной работой на континенте. Я как могу удовлетворяю его любопытство, стараясь вставить в отчет побольше конспиративных кличек. Джон, Джек, Майкл, Харви — эти имена и приметы лиц, коим они принадлежат, занимают не один абзац в многостраничном романе, сочиняемом Огюстом. Единственно, где я избегаю выдумок, это в рассказах о руководстве: с джентльменами, стоящими во главе СИС, на Принц-Альбрехтштрассе должны быть знакомы... За номер «А» и всяких там Джеков я не боюсь. Ответ из Алжира от резидентуры РСХА придет в лучшем случае через несколько недель; что же касается кличек, то, хотя гестапо и известны основные фигуранты Интеллидженс сервис, работающие по Французской зоне, никто не может поручиться, что Огюста Птижана инструктировали именно они, а не чины разведки из других отделов. Все же я стараюсь как можно меньше касаться Лондона, сведя свое пребывание в нем к краткому периоду — две недели... Эрлиха как будто бы все устраивает. Он слушает, почти не прерывая, однако после его вопросов Птижан всякий раз чувствует себя так, словно только что погулял на краю пропасти.

Так было, скажем, когда штурмбаннфюрер словно невзначай спросил о 39-й комнате. При этом он просматривал полдюжины страниц, продиктованных мной в первый день, из чего Огюст Птижан обязан был сделать вывод, что 39-я комната упоминается именно в них. Я напряг память и вспомнил, что, во-первых, не говорил о ней и, во-вторых, что, поскольку вопрос поставлен в связи с заданием Птижану установить базу германских рейдеров, дело скорее всего касается военно-морской разведки.

— Вы об Адмиралтействе? — спросил я, словно с трудом припоминая. — Ах да, конечно... Боюсь, что ничем вас не порадуя. Я знаю, что такая комната есть — вход в нее через подъезд на площади Молл, прямо против памятника Куку... Моряки не жалуют гостей, а я не набивался на приглашение.

Эрлих кивнул, и новая глава романа, создаваемая плодови- том Огюстом, пошла без задержек.

Где-то около полуночи Эрлих отпускает шарфюрера Больц на покой, и мы остаемся вдвоем за рюмочкой коньяка. «Камю» тяжело плещется в хрустале; алмазные грани отсвечивают голубым, розовым, зеленым; торшер приглушенно высвечивает узоры на ковре, и мы — задушевные друзья — ведем долгую беседу о будущем. Эрлиха беспокоит мой вид. Костюм, заказанный у «Бон-Марше» по старой мерке Птижана, висит на мне

балахоном; повязка источает тяжелый запах, и я то и дело держусь от приступов боли.

— Вас надо показать хирургу, — говорит Эрлих с таким нажимом и заботой, словно я всячески отнекиваюсь от осмотра специалистом. — В таком виде вы ни на что не годитесь! А время идет.

— Мне надоело ждать больше, чем вам.

— Потерпите.

— Легко сказать!.. Микки ведет себя как фельджандарм!

— Она не опасна. Ну как вы не поймете, Одиссей? Больц замыкается на Варбурга и только на него одного. Любой иной на ее месте может, не разобравшись во всех тонкостях, донести Мюллеру или Кальтенбруннеру, что Эрлих и Варбург нянчатся с англичанином. С меня, признаться, хватит одного Фогеля, который покой потерял, пытаясь разнюхать, куда вы исчезли.

— Его это интересует?

— Больше, чем хотелось бы!

— Что ж, это плохо.

Эрлих кончиком ботинка разглаживает ворс на ковре. Прижав его, поднимает голову. Оранжевый свет торшера тускло ложится на впалую щеку.

— Пока только неприятно, Одиссей. Больше всего на свете я боюсь энтузиастов. Такие могут поломать любую комбинацию, прямолинейно понимая интересы рейха... Не скрою: Фогель из энтузиастов.

— Он может докопаться?

Эрлих неохотно кивает.

— Может. У СД достаточно возможностей.

— Ну а Варбург?

— Формально он тут ни при чем. Бригаденфюрер согласился на перевербовку Стивенса, и точка. Считайте, что его нет, Одиссей.

— Иными словами: он с нами при удаче и против нас при первом же намеке на фиаско? Можете не отвечать... Что ж, разумная позиция... Однако вы в одиночку не составите, пожалуй, удобоваримой дезы для Лондона.

— Пусть это вас не заботит!

— Ну нет! — говорю я жестко. — Через несколько дней в любом случае придется начинать. Люк, как условлено, выйдет на контрольное randevu пятнадцатого в полдень. Что мы вручим ему? Кучу вранья?... В Лондоне через час выявят «бронзу», и тогда пиши прощай!.. Эрлих! Мне нужна не дешевая дезинформация, а слоеный пирог, где правда была бы на корочке, как крем. Части на побережье, структура парижского гестапо, характеристики руководства... Без помощи Варбурга вы оскандалились.

Эрлих встает и начинает вышагивать по комнате — руки в карманах. Узкая изломанная тень мелькает по ковру, то удлиняясь, то укорачиваясь.

— Это уж ваша задача, чтобы в Лондоне верили, — говорит он сердито. — Скажите лучше: вы убеждены, что мистер Люк придет?

— Пятнадцатое — контрольное число. Так было условлено

задолго до ареста. Улица Модисток, писчебумажный магазин Фора... Сейчас нам с вами его не достать.

— Это единственная ваша связь?

— Нет, почему же. Есть Клодин Бриссак. Она курсирует между бывшей Зоной и Парижем. Привозит информацию о периферии и оставляет в цоколе столба по согласованию с Люком.

Эрлих останавливается, и тень его съезживается до размеров обувной коробки. В голосе, прорвавшись, звучит подозрительность.

— Как случилось, что вы не знаете аварийного адреса Люка?.. Ни черта вы не знаете: ни квартиры, ни шкалы частот, ни расписания работы рации.

— Проконсультируйтесь с абвером, — кратко предлагаю я, — или с Шелленбергом, он, кажется, ведает разведкой в РСХА *? Они объяснят вам, что элементарные законы конспирации лишают резидента возможности интересоваться аварийными квартирами сотрудников. Частоты же и прочее — прерогативы радиста, его святая святых... Вы засекали Це-Ку-Зет?

— Дважды.

— Что вы слышали о ней до меня? И не догадывались, что такая есть, не так ли?

— Это правда, — признает Эрлих и вновь принимается расхаживать по комнате. — Так-то оно так, однако ваша Це-Ку-Зет очень странная особа. Мы засекаем только ее, но не слышим ответа корреспондирующей станции. Це-Ку-Зет заканчивает, дает «дробь» и получает «квитанцию». И все. Откуда получает? Каков индекс корреспондента? Почему он не шлет ни приветов, ни инструкций?.. И вдобавок Це-Ку-Зет прыгает по Парижу. В первый раз мы извлекли ее из Кубервуа, с окраины, а во второй — извольте — она барабанила уже откуда-то из Гренелля, из самого центра. Сколько же у Люка радиоквартир?

— Спросите его, — советую я и напоминаю: — Поторопитесь с информацией, Эрлих, и обратите внимание на качество. В персоналиях, выборочном списке частей и характеристиках не должно быть ошибок, СИС держит в Париже не одного меня. Пара пустяков сверить данные... Кто сейчас вместо Штюльпнагеля?

— Генерал Боккельберг, комендант Парижа... Штюльпнагель застрелился, я вам говорил.

— Помню! Постарайтесь охарактеризовать Боккельберга. И Варбургал

— Это еще зачем?

Живой глаз Циклопа прищуривается.

— По моей версии для Лондона — он наш источник. Я придумал ему кличку «Зевс». Нравится?

— Интересно! — говорит Эрлих. — Очень, очень интересно! Какое же кодовое имя вы дадите мне?

«Циклоп», — хочу сказать я, но вместо этого произношу:

— Еще не решил. Хотите «Карлхен»? Ласково и нейтрально. Эрлих пожимает плечами.

— Пусть так...

...В последующие сутки ничего нового не происходит. Разве что Микки держится вежливее. Я слышал краем уха разнос,

* РСХА — Главное имперское управление безопасности.

учиненный Эрлихом шарфюреру в передней, и, признаться, ожидал, что Лотта станет ниже травы и тише воды, но у нее есть характер, и единственно, в чем она изменила привычкам, — не сдернула утром одеяло. Хоть какой-то прогресс...

Ближе к полудню, в неурочный час, приехал Гаук, сделал вливание и сменил перевязку. Рука опухла еще больше, а запах усилился, и Микки пришлось опрыскать комнату одеколоном.

— Дрянь дело, — буркнул Гаук, накладывая бинты. — Температуру мерили?

— Тридцать восемь и две! — отрапортовала шарфюрер Больц, тенью маячащая за спиной Гаука. — Он плохо завтракал, гауптштурмфюрер! Он простужен!

— Это не простуда... Вы совсем не гуляете?

— Запрещено! — доложила Микки.

— Я поговорю с кем надо. Вам следует хотя бы час-другой дышать свежим воздухом. Комнатная атмосфера все одно, что бульон для микроорганизмов... Сядьте!.. Так. Дышите... Глубже, еще глубже... Я вызову хирурга, посмотрим, что можно сделать.

Гаук отбыл, оставив после себя пепел на ковре и стойкий запах лавандового мыла. Вечером я ждал хирурга, но он так и не приехал, зато появился Эрлих с сообщением, что завтра я могу выйти погулять.

— Гаук? — спросил я.

— Мне дорого ваше здоровье, — ответил Эрлих, рассматривая ногти. — Придумайте маршрут, Одиссей, и постарайтесь, чтобы он пролегал не по самым людным улицам.

— Бульвар Монмартр годится?

— А еще?

— Тогда на ваш вкус.

— Ладно, — сказал Эрлих. — Пусть будет бульвар Монмартр. Но не делайте попыток заходить в магазины или телефонные будки.

— Там нет магазинов. И, что главное, он далеко от пансиона, где я жил. Нет риска встретить знакомых. Вам, полагаю, будет неприятно, если Птижана увидят в обществе господ с очень характерным выражением лиц?

— Договорились... Вы готовы диктовать?

Микки сняла чехол с машинки, и началось утомительное и нудное перечисление псевдонимов, домов, обстоятельств встреч и разговоров... Если я рассчитал правильно, на изучение моего романа в Берлине должны потратить самое малое неделю. Семь дней. Сколько это будет в переводе на часы?

Эрлих выглядел расстроенным. В первый раз за все время он не задал ни одного вопроса; сидел задумчивый и прервал меня буквально на полуслове, когда часы показывали половину второго... Я вздохнул про себя, радуясь, что избежал очередных ловушек. Хотя все, казалось бы, доказывает Эрлиху, что Стивенс говорит правду и нет оснований сомневаться ни в его показаниях, ни в британском происхождении, каждый день я чувствую себя инфузорией, рассматриваемой под микроскопом. Взять ту же прогулку. Доверие это или еще одна проверка?

...Мы приехали на бульвар в стареньком «ситроене» с гражданским номером и шофером-французом. Два заботливых

стража помогли мне выбраться на панель и тут же отделились — один пошел шагах в двадцати впереди, другой — на таком же расстоянии сзади. Бульвар был малолюден, и старухи, присезшие в тени с вязанием, не обращали на нас внимания.

Не вызвали мы интереса и у патруля, вольно вышагивающего навстречу: воротники мундиров были расстегнуты на оба крючка; старший, обер-ефрейтор, помахивал веточкой каштана и мурлыкал под нос. Автомат висел у него через плечо, словно клюшка для гольфа. «Розумунде та-та-та-ти-та-та-та...» — напевал обер-ефрейтор, отгоняя веточкой докучливую мошкарү...

Мы прошли по бульвару раз, другой, и я ни разу не присел, к ваящему удовольствию своих спутников. Вообще Огюст Птижан вел себя скромнее пансионерки на экскурсии в Версале. Окурок, брошенный им в вазу для мусора — третью от спуска, ведущего в сторону музея Гревен, заставил было гестаповцев насторожиться, но уже следующий, опущенный пять минут спустя в другую, не вызвал у них эмоций.

Я был доволен и уехал, унося в памяти терпкий запах каштанов, пыли, краски с оград — запах свободы... Мне хотелось улыбаться...

...Улыбкой я и встречаю Эрлиха, еще более хмурого и замкнутого, чем в предыдущий вечер. Государственные заботы так и выпирают из него вместе с холодным взглядом, которым он одаривает меня и Микки.

— Надеюсь, вам лучше, Одиссей?

— Я превосходно погулял.

— Больц, приготовьте кофе. И уберите машинку. Мы не работаем.

Микки испаряется, а Эрлих буквально падает в кресло.

— Минуту, — говорю я. — Привстаньте, Шарль.

— Что еще?

— Вы сели на вязанье. Мадемуазель Больц вяжет носки для солдат.

Эрлих вытаскивает клубок и спицы и с размаху швыряет в угол.

— Сумасшедший дом!

— Что с вами, Шарль?

— Ничего, — говорит Эрлих и добавляет уже по-французски: — Фогель был здесь?

— Нет. Я, правда, отсутствовал... Он узнал адрес?

— Хуже. Варбург получил рапорт Фогеля, где тот обвиняет меня в сделке с врагом. Спасибо, что Варбург, а не группенфюрер Мюллер в Берлине!.. Поставьте чашки, Больц, и не крутитесь тут! Если я наткнулся на вас вне кухни, пеняйте на себя!

Задик Микки, повернутый в нашу сторону, выражает величайшее негодование и презрение. Хотел бы я увидеть лицо Лотты!..

— Расскажите толком, Эрлих, — прошу я, отпивая глоток.

Кофе жидок и слаб, совсем в духе экономной Микки. Паке-тики с сахарином аккуратно стопкой лежат на отдельном блю-дечке. Две крахмальные салфетки заключены в мельхиоровые кольца. Идеальный порядок в сочетании с идеальной скупостью. Хоть бы печенье подали, что ли...

Циклоп, забыв положить сахарин, долго и тщательно перемешивает кофе.

— Скверно складывается, Одиссей. В доносе сказано, что штурмбаннфюрер Эрлих, маскируя свои изменнические действия интересами империи, добился освобождения английского агента и прячет его от гестапо. Прямо анекдот, если б не одно «но»: в Берлине из таких вот анекдотов делают смертные приговоры...

— Я не проговорюсь и в Берлине.

— Допустим. И все-таки ситуация щекотливая. Прикиньте: вы действительно почти на свободе; гестапо до сих пор не внедрилось в резидентуру СИС, ваш отчет перепевает известную по другим источникам информацию, и все остальное в том же духе. Подбейте баланс и сообщите, что будет, если через неделю мы не выйдем на Люка!

— Не раньше пятнадцатого.

— Пусть так. Но не позже, Одиссей!

— Но вы говорите, что рапорт у Варбурга?

— А у кого копия? И единственная ли? Или их несколько и в разные адреса — группенфюреру Мюллеру, Кальтенбрунеру, рейхсфюреру СС?

— Пусть Варбург успокоит Фогеля.

— Не прикидывайтесь, Одиссей, что туго соображаете. Я не хочу повторять, какова позиция Варбурга. Дивиденды ему, а убытки мне.

Я допиваю кофе и наливаю себе новую порцию. Не спеша... Пусть успокоится и сам поищет выход. В моем положении бессмысленно что-либо предлагать.

— Чего хочет Фогель? — спрашиваю я, не дождавшись продолжения.

— Все сходится на том, что его взбесила «отставка». У него приличный нюх, и, по-моему, он был бы не прочь обзавестись собственным страховым полисом. Но здесь третий лишний.

«Ой ли? — говорю я себе. — Лукавишь, Эрлих! Полис и все такое — ерунда. Ты слишком переживаешь, доказывая готовность работать на СИС. Даже у профессионального ренегата остаются остатки стыдливости, мешающие ему вот так, в лоб, рассуждать об измене, прикидывая выгоду. Сказал бы иначе: тебе и Варбургу не хочется делиться с Фогелем лаврами. Он мелковат чином для ваших кругов и слишком нагл, чтобы дать обойти себя на повороте... Одно неясно: как далеко готов ты зайти во имя своих прибылей?»

— Руно, — говорю я и замолкаю, дав Эрлиху время уловить идею. — Золотое руно.

— Это метафора?

— Угу, — бормочу я, выбирая гущу из чашки. — Я ваш должник, Эрлих. Вы подарили мне притчу, не получив взамен равноценной.

— Я весь внимание.

— Было так, — начинаю я и рассматриваю чашку на свет: небудки на фарфоре прозрачны, как живые. — Некий аргонавт, обуянный завистью и желанием выдвинуться, обвинил своих товарищей в краже золотого руна. Руно действительно пропало, но Зевс не питал определенных подозрений. Или на-

оборот: он верил всем. Но наш аргонавт трубил во все рога и тыкал пальцем в грудь предполагаемого вора. Что же сделал Зевс?

— Что он сделал? — машинально повторяет Эрлих.

— Послал ревизоров с Олимпа, чтобы те незаметно осмотрели поклажу аргонавтов. И они нашли руно. Где бы вы думали?

— У горлопана?

— Bravo, Эрлих! Истина гласит: громче всех кричит тот, кто украл кошелек... Зевс был мудр, и боги-ревизоры не ссылались на его приказ. Уже в те стародавние времена во всех мало-мальски серьезных учреждениях, а на Олимпе и подавно, существовали правила по соблюдению режима секретности. Именно соблюдением правил и интересовались ревизоры. В порядке ли свитки, доверенные аргонавтам, там ли лежат, где нужно? А руно нашлось аб-со-лют-но случайно. Остальное — в части реакции Зевса и кары для вора — вообразите сами... Ну как, хороша притча?

— Как называлось в те поры руно?

— Фунты стерлингов, по-моему...

— А вы не думаете, что в конечном счете аргонавт, упомянутый вами, сумеет доказать невиновность?

— В другом месте, Эрлих. И по прошествии долгих недель. И главное: даже очистившись, он все-таки не отмоется до конца. Ничего так не прилипчиво, как клевета.

— Допустим... — начинает Эрлих и умолкает.

Я не делаю попыток подтолкнуть его на продолжение. На усвоение и переваривание любой идеи требуется известный срок. В конечном же счете, сдается мне, чины СД, уполномоченные Варбургом, обнаружат в столе или несгораемом шкафу штурмфюрера Фогеля энную сумму английской валюты. И тогда...

— Слово за Зевсом! — говорит Эрлих и разом выпивает чашку остывшего кофе. — Я принес вам набросок дезы, Огюст. Просмотрите бумаги, не допуская к ним Больц. Ни одна строчка не должна попасться ей на глаза. Сумеете?

— Постараюсь.

— Хирург приедет с утра.

Эрлих встает и, забыв, что на нем штатское, пытается поправить несуществующую портупею. Вид у него как у гладиатора, идущего на схватку с нубийским львом. Не завидую я Фогелю!

9. ИСКУШЕНИЕ ОДИССЕЯ — АВГУСТ, 1944.

Не завидую я Фогелю. Но и мне несладко. Каша сварена слишком круто, и ею легко подавиться... Один... Абсолютно один. А так нужен добрый совет, данный непредубежденным другом. Будь рядом Люк, мы обсудили бы все «про» и «контра» и, как знать, не пришли бы к выводу, что Огюсту Птижану пора начинать искать лазейку, чтобы улизнуть... Риск. С каждым часом он растет в геометрической прогрессии... Чего я жду? Сначала выторговал у судьбы время, чтобы любой ценой связаться с Анри Маршаном и предупредить о двадцать пятом. Без листов из портфеля Це-Ку-Зет превращалась в

ненужный железный ящик, напичканный лампами, конденсаторами и сопротивлениями. Таблицы связи — на август и сентябрь. Теперь они у Люка вместе с адресами связных. В принципе Люк отлично справится без меня, и Центр будет, как и прежде, получать информацию в установленные дни и часы... Будь объективен, Огюст! Пора кончать. Ты добился и второй цели — оттянул все внимание Эрлиха на себя, вселив в него надежду на успех перевербовки. Две недели — срок достаточный, чтобы Люк перестроил группу, сменил квартиры, явки, шифры. Ниточка связи, тончайшая, как паутинка, оставленная им для тебя на самый крайний случай, ни при каких обстоятельствах не выведет Эрлиха из лабиринта. Он может до скончания века ломать голову, нащупав ее, но так и не догадаться, кто стоит на другом конце... Все так... Тогда ответь, Огюст: зачем продолжает существовать резидент СИС Стивенс? Уж не обольщаешься ли ты иллюзией, втройне опасной потому, что Эрлих охотно поддерживает ее и силится придать ей вид реальности?.. Давай прикинем... Что ты знаешь об Эрлихе? Ничтожно мало фактов и зыбкие догадки и умозаключения, могущие быть ошибочными от «а» до «я». Ну, лицо без шрамов, интеллигентность, туманные намеки штурмбаннфюрера на заинтересованность в послевоенном благополучии — посылки, на основе которых воображение выстроит не один, а тысячу силлогизмов. А не получится ли по печально знаменитому правилу софистики: конь имеет четыре ноги и стол имеет четыре ноги, значит, стол — это конь?..

Я валяюсь на кровати одетый и одну за другой курю дерущие горло «Голуаз». Остатки наркоза, не выветрившиеся за три часа, вызывают у меня приступы тошноты... Рано утром хирург, доставленный Эрлихом, без промедлений отвез меня в военный госпиталь Дю Валь-де-Грас, и — чик-чирик! — Огюст Птижан остался без трех пальцев на левой руке. «Через сутки было бы поздно, — сказал хирург, когда меня клали на каталку, чтобы отправить в операционную. — Какой коновал вас пользовал?» Он принимал меня за немца и был преисполнен сочувствия. Мне наложили на лицо марлевую маску и заставили считать. Айн, цвай... зекс, зибен... Эфир пах раздражающе сладко. Это был отчаянный момент; погружаясь в пьяное, развеселое забытие, я успел подумать, что под наркозом люди не только поют, плачут и хохочут, но и говорят... и, как правило, на родном языке... Очнувшись, я увидел отчужденное лицо хирурга. «Англичанин?» — спросил он. «С чего вы взяли?» Хирург возмущенно повернулся к вошедшему в операционную Эрлиху:

— Вы знаете, что он тут нес?.. О какой-то Алисе из Страны Зеркал, и называл своим другом Люиса Карла.

Эрлих усмехнулся, поправил:

— Кэролла. Все в порядке, штабс-артц! Не беспокойтесь!..

Он и здесь гнул свое, штурмбаннфюрер Эрлих! При операциях, вроде моей, вполне можно было обойтись местной анестезией; эфирная маска — не сомневаюсь! — была предложена Циклопом. Он не мог не знать, что люди говорят под наркозом, а если и не знал, то у СД достаточно специалистов, способных проконсультировать Эрлиха в тонкостях медицины...

В тридцать восемь лет — инвалид... Когда-то я недурно играл на пианино... Когда — тысячу лет назад?

— Та-ра-ра-та ле-ля-ля!.. — вертится у меня на языке песенка с давно забытой Огюстом Птижаном пластинки. Она мешает думать об Эрлихе и вещах более насущных, чем игра на пианино... Микки с вязаньем в руках неотступно следит за мной из угла, куда Эрлих, уходя, усадил ее с наказом немедленно звонить, если мне станет хуже.

— Придется полежать, — сказал он. — Я еще заеду к вечеру. Радуйтесь: вы, кажется, не ладили с Фогелем? Так вот у него изрядные неприятности!

Микки наострила уши.

— Да, да, — сказал Эрлих раздраженно. — Это и вас касается, шарфюрер Больц! Вы, по-моему, любили таскаться с Фогелем по ночным кабакам? Не припомните ли, чем он расплачивался?

Микки возмущенно передернула плечами.

— Марками, конечно!

— Повторите это бригаденфюреру. Он очень тревожится, откуда в столе у Фогеля очутились английские фунты? Похоже, здесь не обошлось без черной биржи...

Мне было так худо, что смысл сказанного не сразу дошел, а когда я переварил сообщение, Эрлих уже уехал... Черная биржа у Триумфальной арки... Что ж, пожалуй, это выглядит не так грубо, как обвинение в связи с английскими эмиссарами... Но как быстро!.. Правда, или очередной ход многоопытного штурмбаннфюрера СД, сделанный в неведомых Огюсту Птижану интересах? И вообще: надо ли Эрлиху устранять Фогеля, или вся история с ним — выдумка? Свободно может оказаться, что штурмфюрер Фогель ни в малейшей степени не любопытствовал насчет судьбы Птижана, и Эрлих бросает его как козырь, как доказательство своей лояльности, а господин штурмфюрер, не ведая ни о чем, катит сейчас куда-нибудь подальше от Парижа в отпуск или со специальным заданием... Да или нет?.. Где решение?.. Я вспоминаю лицо Эрлиха, интонацию, каждый жест, когда он рассказывал об интригах Фогеля, и колеблюсь...

Время, только оно способно дать правильный ответ. Но именно его мне не хватает.

— Лотта, — взываю я к Микки, уткнувшейся в вязание. — Вы всегда так молчаливы?

— О чем говорить? — неожиданно просто отвечает она. — Пить хотите?

— Не хочу. У вас есть жених, Лотта?

Под передником у Микки тонкий поясок и кобура с пистолетом. Маленький офицерский «вальтер». Справлюсь ли я с ней одной рукой? Я встаю и, задохнувшись, падаю на подушку. Ни черта не выйдет! Проклятая слабость! Или это к лучшему — судьба сама предупреждает Одиссея: «Не спеши!» Допустим, мне удастся обезоружить шарфюрера Больц; допустим, «вальтер» окажется у меня в руках. Что дальше? Бежать?.. А двое внизу, у выхода? Еще один в комнате консьержа и двое во дворе. Останется только пустить пулю в лоб... Ну это никогда не поздно — умереть...

Тошнота клубком вязнет в горле. Я сглатываю кислую слюну и закрываю глаза. Думай, Огюст! Мысль — единственное оружие, оставшееся тебе.

Отдышавшись, я с удовольствием воображаю забавную картинку: вазу, третью от спуска к музею Гревен, и ее содержимое, глубокомысленно изучаемое экспертами гестапо. Я отчетливо видел, что один из них украдкой подобрал окуроч, брошенный Птижаном на дорожку, и засек вазу, куда я спроводил предыдущий. Теперь химикам, трассологам и криптографам хватит работы как минимум на сутки. И что самое смешное — ни один из окурков не содержит шифровки.

— Штурмбаннфюрер просил узнать, будете ли вы гулять сегодня?

Микки кладет вязанье на колени и ждет ответа.

— Может быть... Сначала отдохну...

— Очень больно?

Что с ней происходит? Простые человеческие вопросы, не замутненный ненавистью взгляд. Ночью Микки отсутствовала; ее заменил один из охранников, дремавший в прихожей. Где она была — у Варбурга?..

СС-бригаденфюрер Варбург. Он интригует меня больше всего остального. Он сидит в тени, невидимый и неслышимый, и все-таки бытие Огюста Птижана развивается не без его участия. Эрлих всего лишь проводник чужих приказов и воли, посредник между резидентом Стивенсом и эсэсовским генералом. А что если Варбург верит в Стивенса всерьез?.. Я и раньше был склонен думать так, а сейчас постепенно все больше и больше укрепляюсь в этой мысли... Ради Варбурга стоит ждать. И из-за него же мне необходимо сегодня побывать на бульваре Монмартр.

— Сколько сейчас, Лотта?

— Десять тридцать пять.

— Часа в четыре разбудите меня.

Сон, суматошный, но глубокий, приходит ко мне по первому зову. Отрывочные видения, в которых Варбург почему-то предстает в виде старого слона с ушами-опахалами. Рядом со слонем — Фогель: растерянная физиономия, остекленевшие глаза и мундир без погон. Я догадываюсь, что это пророчество, знание свыше, и так и говорю Варбургу: «Наши имена занесены рядом в книгу судеб...» Лицо Варбурга последнее, что я вижу во сне, ибо Микки трясет меня за плечо.

— Четыре часа.

— А? — говорю я и вытираю с подбородка ниточку слюны. — Что такое?

— Штурмбаннфюрер прислал машину. Доктор Гаук считает, что вам все-таки надо погулять. Вы пойдете?

— Сначала кофе, Лотта!

По медицинским нормам после операции положено лежать, Эрлиху это известно, и все же он буквально выпроваживает меня на бульвар. Мы оба думаем об одном и том же: Огюст Птижан будет устанавливать связь. Обязательно будет. Бульвар Монмартр правильно выбран нами в качестве арены событий.

Действие наркоза кончилось, и рука вопиет каждым нервом.



Бесформенная белая кукла, подвешенная на эластичном бинте, не позволяет мне сделать и трех шагов. Голова начинает кружиться, и я валюсь на стенку, сползаю по ней... Встаю... Ну, Огюст, иди же!.. Шаг. Еще шаг. Не шаг — шажочек, робкий, как у ребенка. Скрип собственных зубов — противный, ни с чем не сравнимый звук... Шажок... Вот так, хорошо, Огюст!.. Мне никак не удастся надеть пиджак, и Больц, вошедшая с кофе, бросается на помощь.

— Вам плохо?

— Поскользнулся, — говорю я, бочком присаживаясь на пуфик. — Каков аромат, а? Натуральный кофе!

— Бразильский, — говорит шарфюрер Больц и наклоняется ко мне.

Я не гадалка, но знаю, что будет. Теперь знаю. Наверняка. Поэтому я ни капли не удивляюсь, когда Микки, невыразительная как статуя, наклоняется и принимает ко мне. С холодной головой я целую ее, и с каждым поцелуем губы Микки оттаивают и становятся все мягче. Она начинает задыхаться, и я отпускаю ее... Где-то там, в Булонском лесу, бригаденфюрер



Варбург выдал Стивенсу вексель — достаточно надежный... Имеющий разум да поймет!.. Три человека — три цели. Стивенс, Эрлих, Варбург. Каждому свое.

— Ты очень мила, Лотта.

— Это правда?

— Ты очаровательна. Разве тебе не говорили?

Меня просто подмывает похвалить шарфюрера Лотту Больц за образцовую службу и точное следование приказам Варбурга. Микки оправляет блузку — медленно, еще не понимая, что все кончилось... Продолжения не будет, Микки. Хотя на месте Стивенса я не вправе быть столь категоричным в утверждениях. Варбург определенно не поймет англичанина, остановившегося на полпути.

— Тебе помочь? — спрашивает Микки, прочно перешедшая на «ты». Очевидно, она не сомневается, что ночь закрепит наши отношения.

— Ты чертовски мила, Лотта, — повторяю я. — Поедешь со мной?

Микки морщит лоб, решает:

— Не стоит, чтобы Эрлих догадывался. Понимаешь?

— Ты права! — говорю я с жаром. — Это было бы неосторожно!

Под пытливым взглядом Микки я нахожу в себе силы довольно бодро пройти до лестницы, где меня встречает шофер — все тот же француз из «летучей бригады» жандармерии, очевидно. Опираясь на его руку, я спускаюсь к подъезду. Сажусь в «ситроен» и в полубессознательном состоянии трясусь на продавленном сиденье — путь до бульвара не близок.

Первый, кого я вижу, вылезая из машины, — Эрлих. Как ни в чем не бывало он помахивает рукой, подходя. Штатский костюм и знаменитая булавка в бордовом галстуке. Воплощение респектабельности.

— Сюрприз? — говорю я, преодолевая одышку.

— О, неприятный. Давайте побродим вместе?

— Почему бы и нет...

Охрана, разделившись, следует за нами. Эрлих придерживает меня под локоть, и я благодарен ему за это: ноги едва слушаются Огюста Птижана. Мы выходим на бульвар и плетемся мимо знакомых скамеек с пластинчатыми спинками, стриженных кустов и посадок декоративного табака. Неловко, одной рукой, я раскрываю плоскую коробочку «Житана» и, когда ваза, третья от спуска, оказывается рядом, словно раздумав курить, бросаю в нее сигарету. Надо же дать пищу специалистам и, кроме того, мне очень хочется позлить Эрлиха.

— Чему обязан, Шарль? — спрашиваю я и радуюсь тому, что голос мой звучит достаточно ровно.

— Наш друг Фогель...

— Что с ним? Заболел?

— Хуже. Сидит под домашним арестом.

— Какая досада! — говорю я заплетающимся языком и едва не падаю вместе с Эрлихом.

К счастью, толстый старый каштан, бугристый от бородавчатых наплывов, удерживает нас на ногах. Пальцы мои скользят по коре, хватаются за наплывы, не задерживаясь и на том, в котором — это я знаю точно! — мать-природа проделала крохотное дупло.

Эрлих с трудом поддерживает меня.

— Огюст! — говорит он с испугом. — Эй, вы там, помогите же!

Ближайший из охранников стремглав летит на зов. Вдвоем с Эрлихом они кое-как дотягивают Огюста Птижана до скамейки, усаживают, распускают галстук.

— Воротник, — хлопчет Эрлих. — Расстегните же ему воротник, черт возьми!

— Да, штурмбаннфюрер!

— Да не возитесь вы!..

Милая моему сердцу перебранка, свидетельствующая о том, что в суматохе и вспышках эмоций проделка с дуплом пройдет незамеченной... Не пора ли прийти в себя?

Глубоко вздохнув, я открываю глаза.

— Ну, ну, — говорит Эрлих и ободряюще треплет меня по плечу. — Маленькая заминка, а? Не надо было ехать, Огюст.

— Кто мог предположить... Простите, Шарль.

— В постель, Одиссей, и немедленно! Вы дойдете до машины?

Шажок. Другой... Буквально по сантиметру Огюст Птижан преодолевает расстояние от бульвара до «ситроена». Меня тянет оглянуться назад, на каштан, ничем не отличимый от сотен каштанов, но я удерживаюсь от искушения и даю Эрлиху усадить себя в задний отсек авто. Свертываюсь калачиком на подушке и вслушиваюсь в тарахтение мотора. Испуганные лица старушек и старичков, вытянувших шеи на скамейках, стоят у меня перед глазами... Мадам! Мсье! Не волнуйтесь, пожалуйста! Огюст Птижан — о-ля-ля! — живуч как кошка!.. На этот раз мне определенно повезло.

10. СПЛОШНЫЕ СЮРПРИЗЫ — АВГУСТ, 1944.

На этот раз мне определенно повезло. Хочется надеяться, что и дальше, в ближайшие сутки, быт Огюста Птижана не омрачится событиями из ряда вон выходящими.

Вечер и ночь прошли спокойно. Вернувшись с бульвара, я отправился в постель, куда Микки подала мне ужин. В присутствии Эрлиха шарфюрер Больц держалась официально, словно это не она несколько часов назад пыталась соблазнить простодушного Огюста Птижана. Сидя с подносом возле кровати, она не удостоила меня и словом; чопорные движения, бесстрастный взгляд профессиональной сиделки. Недостаток добросердечия был компенсирован ею после отъезда штурмбанн-фюрера: за полночь Микки то и дело, скользя как тень, возникала в комнате и поправляла подушки. Роман не достиг апогея лишь благодаря сценическим способностям Птижана, издававшего такие стоны, что Микки ринулась названивать Гауку. В результате я получил укол морфия и возможность заснуть в полном одиночестве.

Впрочем, заснуть — это сказано не точно. Кошмары, раздвигавшие забитые на клочки, мало напоминали сон. Я с кем-то дрался, бежал, прятался в обгоревших развалинах; левая рука моя жила сама по себе — на ней появились пальцы, похожие на щупальца, и я цеплялся ими за падающие дома, мосластые ветви ветел и черные-пречерные облака... Перед рассветом я окончательно открыл глаза и обнаружил Микки, сидящую на пуфике. На коленях у нее был тазик, в котором плавали салфетки.

— Скверное дело, — сказал я, удивляясь, как звонко звучит мой голос.

Микки сменила компресс и сунула мне градусник. Я держал его во рту и, скосив глаза, следил за металлическим столбиком, быстро заползавшим за красную черту. Стекланный стебелек дребезжал, тыкался в зубы...

— Сделать укол? — спросила Микки.

— Не надо, — сказал я, боясь, что морфий опять вернет меня к видениям бреда; в бреду, как известно, люди всегда говорят.

— Гауптштурмфюрер распорядился...

— Бог с ним, Лотта... И не лезьте из кожи вон. Вы ведь терпеть меня не можете.

— Не так...

— А как? Ну смелее! Не церемоньтесь с недочеловеком! Мой голос звучал, как гитарная струна, самое высокое си, отраженное в пространстве.

— Это верно, — сказала Лотта, подумав. — Но что-то в вас есть. Вы похожи на немца, Август... Лежите тихонько, у вас тридцать девять и три.

— Ничего... Скажите, Лотта, Варбург посоветовал вам быть... как бы это выразиться? Быть помягче со мной? Он ваш любовник, Лотта?

Микки уронила компресс; брызги из тазика темными пятнами расплылись по халатику.

— Бригаденфюрер мой начальник!

— Значит, Эрлих лжет?

— Вы думаете, я шлюха?

Это не шарфюрер Больц. Не солдат СС, всегда думающий только о фюрере, тысячелетней империи и достоинстве нордического человека. Маленькая немочка, девочка Лотти, игравшая, как и все дети мира, с тряпичной куклой, верившая в бога, зубрившая в гимназии правила арифметики. НСДАП придушила эту девочку, и СС-шарфюрер, не испытывая сомнений и жалости, присутствовала при пытках и исправно доносила начальству о коллегах, имевших неосторожность отступать от «кодекса германской чести...». О нет, я не педагог и не собирался перевоспитать фрейлен Больц. Мне всего-то и требовалось — заставить ее так или иначе ненадолго выйти из жестких рамок служебной регламентации... Девочка Лотти не желала, чтобы ее считали шлюхой. Пока и этого довольно.

— Так думаю не я, а штурмбаннфюрер, — сказал я.

— А что ему известно? Что он знает о бригаденфюрере, этот ваш Эрлих?

— Почему «мой»?

— Будто не догадываетесь? Не делайте из меня дурочку, Август. Я тоже не совсем слепа... Он думает, что хитрее всех. Как бы не так! Бригаденфюрер видит его насквозь.

Я еле сдержал стон, боясь спугнуть ее, и ждал продолжения. Однако мысли шарфюрера Больц совершили скачок и ринулись в другом направлении.

— Хотите знать, почему Эрлих врет, что я шлюха? Он затащил меня к себе, накачал коньяком и стал кричать, что я Лорелея, а сам искал, где у меня резинки на чулках... Вот оно как было!.. Интеллигент... Доктор, и все такое. Да он и мизинца не стоит — ногтя на мизинце бригаденфюрера! Вот кто человек! Видели бы вы его, Август!.. После Шелленберга он самый молодой генерал СС в рейхе! Сам Гиммлер побаивается его, потому и сплавил в Париж.

Я и не предполагал, что это окажется довольно просто — навести шарфюрера Больц на разговор о Варбурге. Бригаденфюрер был и оставался загадкой для меня. Даже то, что Варбург молод, — открытие. Я рисовал себе его иным: седовласым, усталым, разочаровавшимся в неких идеалах на последнем этапе войны и потому ищущим связи с СИС, буде события сло-

жаты не в пользу Германии... Самый молодой генерал, посланный к тому же в Париж и чем-то насоливший Гиммлеру, — это было уже кое-что!..

— Вы любите его, Лотта?

— А хоть бы и так?

— Еще бы — Зигфрид...

Я здорово рисковал, пользуясь насмешкой, но фрейлен Больц все-таки, к счастью, была в первую голову женщиной, а солдатом СС — во вторую.

— Есть мужчины и красивее, согласна... Но и вы, Август, влюбились бы в него. Когда он целует мне руку, я едва не теряю сознания от счастья. Я!.. Кто я такая? Дочь паршивого неудачника, учительши, только тем хвастающегося, когда наплется, что Грегор Штрассер хлопал его по плечу. И Варбург! Граф фон Варбург цу Троттен-Пфальц! Последний в своем роду. Он отказался от приставки и титула, чтобы слиться с нацией. Вы бы на это пошли?

Итак, отпрыск аристократической фамилии, вступивший в СС, чтобы «слиться с нацией», и ищущий через посредство Эрлиха связь с Интеллидженс сервис... Лотта, неопытный шахматист, перемешала фигуры на доске и подставила своего короля под шах. Продолжая сравнение, я подумал, что Варбург из числа королей, которым особенно необходимо прикрытие пешек... Продолжало быть неясным только, какое положение занимает бригаденфюрер в парижской иерархии СД. О верхушке гестапо я, естественно, был осведомлен; люди, окружавшие высшего руководителя полиции безопасности и СД-генерала Кнохена, были наперечет, и Люк долгое время специально занимался ими. Фамилия Варбурга несколько раз мелькала в сообщениях источников, и у меня, по кратким этим данным, сложилось убеждение, что СС-бригаденфюрер болтается при штабе без определенной должности. Пожалуй, я ошибся: скорее всего Варбург действовал в качестве уполномоченного Кальтенбруннера — все, кого терпеть не мог Гиммлер, пользовались особым благоволением начальника РСХА.

Огюста Птижана подмывало продолжить крайне волнующий разговор, но осторожный двойник, сидящий в его оболочке, одернул любознательного исследователя и перевел беседу в более спокойное русло. Совсем некстати было сосредоточивать внимание шарфюрера Лотты Больц на острой теме и заставлять ее, обдумав разговор в свободную минуту, жалеть об откровенности.

Вопрос Лотты остался без ответа, а Огюст Птижан, постолав и поохав, послал ее за кофе. Спать ему не хотелось.

...Еще одно утро, за которым потянется еще один день, не сулящий Огюсту радостей. Солнце пробивается сквозь тростниковые жалюзи и разрисовывает пол желтым серпантинном. Фарфоровая, умилительно наивная пастушка, приподняв пальчиками юбочку, кокетничает с розовым пастушком — безделушка стоит на прикроватной тумбочке по соседству с часами в кожаном складном чехле и вполне современным эбонитовым телефоном. Еще нет семи, а в комнате душно. Я лежу на спине и смотрю на телефон... Из кухни доносятся негромкий стук

тарелок и запах проперченных сосисок: Микки хлопчет над завтраком.

Сосиски и стакан молока, прикрытый салфеткой, всплывают в спальню как раз тогда, когда эбонитовое чудо издает первый, неуверенно короткий звонок. Я лениво скашиваю глаза и проявляю слабый интерес:

— Кто бы это мог быть в такую рань?

Шарфюрер Больц ставит поднос на пуфик. Телефон вторично издает дребезжание и — после паузы — в третий раз затрачивает порцию электричества, дабы побудить нас поторопиться.

Лотта берет трубку.

— Говорите!

Для секретарши — слишком требовательно и сердито.

— Какой Шульц? Здесь нет капитана Шульца. Ошибка!

— Кстати, — говорю я, дождавшись, пока Микки положит трубку. — Соединитесь, пожалуйста, с Эрлихом и скажите, что я вряд ли встану сегодня.

— Уже звонила, — отвечает Лотта и пододвигает пуфик. — Вы спали, и я звонила из гостиной.

— Он ничего не просил передать?

— Штурмбаннфюрер не докладывает мне о делах!

Лотта аккуратно режет сосиску и, подцепив кусочек вилкой, собирается передать его мне, но стук парадной двери отвлекает ее, и я едва успеваю отклониться и сберечь глаза, в которые целится вилка.

— Осторожнее, Лотта, — говорю я недовольно и замолкаю с полукрытым ртом.

Фогель, штурмфюрер СС Фогель, находящийся, как мне известно, под домашним арестом, возникает на пороге спальни и останавливается, покачиваясь с пятки на носок. Он в форме. Фуражка с серебряными регалиями, черные перчатки, пистолет в желтой кобуре слева у пряжки пояса...

Микки первая приходит в себя.

— Как вы попали сюда? — вопрошает она и встает.

— Хайль Гитлер! — раздельно говорит Фогель и обводит комнату глазами. — Вы что, оглохли, шарфюрер?

— Хайль Гитлер...

— Мило развлекаетесь?

— Фогель... — начинаю я, понимая, что происходит неладное.

— Заткнись!

И к Микки:

— Сядь и не двигайся!

— Вы пьяны, штурмфюрер.

— О нет... В самую меру. Не двигаться, говорю тебе, дрянь!

Пальцы Фогеля отстегивают крышку кобуры, и тусклый, тяжелей на вид «борхард-люгер» плотно укладывается ему в ладонь.

— Мы немного побеседуем. Как лучшие друзья.

— По чьему приказу?

— По долгу, шарфюрер. Единственно по долгу и присяге, данной при вступлении в СС. Напомнить ее вам, или вы не до конца забыли текст, валяясь по постелям Варбурга, Эрлиха и этой свиньи?

Это конец. Совсем не тот, какой предвиделся Огюсту Птижану. Глупая смерть, которая находит меня тогда, когда небо казалось почти безоблачным... Солнце раскрашивает паркет желтым серпантином, а пастушка все так же улыбается своему пастушку... Люк взял в дупле мою записку с планом и дал знать о себе... «Здесь нет капитана Шульца». Теперь все это ни к чему. Пистолет в руке Фогеля в любое мгновение изрыгнет свинец, и больше не будет ни Птижана, ни Стивенса. Не будет и меня... Ну нет, черт возьми! Не так все будет просто!.. Только бы Фогель хоть на миг отвлекся — на один миг, не больше...

Фогель, не опуская пистолета, левой рукой расстегивает планшет.

— Десять минут каждому, чтобы написать все. Ты и ты!.. Без лирики! Только факты. Слышишь, Больц! Начни с того, как Эрлих и Варбург договорились предать рейх. Ты была с ними, когда они сговаривались!.. Как я сразу не понял, куда вы гнули... Чья это идея, подсунуть мне деньги в шкаф? Эрлиха? Он все продумал, кроме мелочи: забыл, что дубликаты ключей находятся у него, и мне это известно... И ты — как тебя там? — пиши все, если хочешь жить. Я тебя не трону: и тобой, и этими свиньями займутся в Берлине. Мне нужно одно: факты. Голые факты! Ясно?

— Чего яснее, — говорю я.

— Больц, возьми бумагу и карандаши. На, держи... Сойдет и карандашом: не совсем по форме, но лишь бы разборчиво и правдиво.

Смешное совпадение: карандаш типа «4Н» как раз такой, каким я нацарапал две недели назад имя Клодины Бриссак на клочке, оторванном от газеты. С него все началось.

Лотта Больц вертит карандаш в пальцах.

— Штурмфюрер! Вы не в себе. Вы много выпили, штурмфюрер, и городите ерунду. Какая измена, какой сговор? Идите домой, штурмфюрер, и ложитесь спать.

— Заткнись! — говорит Фогель и покачивается на каблуках.— Из вас двоих он стоит подороже. Тебя я шлепну не задумываясь. Поэтому лучше не дразни меня. Завтра же Гиммлер пустит под «мельницу» твоего аристократа, и вот уж когда похрустят кости! Варбург на коленях будет ползать, вымаливая жизнь... Пиши, я говорю!

Выстрел — не громче треска елочной хлопушки — тонет в углах комнаты, и пистолет Фогеля с тяжелым стуком летит на пол. Дамский «вальтер» в руке Микки дымится; дымится и круглая дыра возле правого плеча шарфюрера; сукно, подожженное выстрелом почти в упор, тлеет, и я провожаю Фогеля взглядом, когда он, покачавшись еще, вдруг подламывается в коленях. Лотта срывается с места и с визгом хватается его за волосы; пригибает голову к полу и с размаху бьет и бьет, и Фогель, вскрикнувший было, замолкает; тело его становится словно бы бескостным и не отзывается на удары, когда шарфюрер Больц острым носком туфли увечит покрытое кровью лицо, расчетливо целится в пах... Это не слепая ярость, а расчет специалиста — изуродовать, забить до полусмерти, лишить остатков воли... Лизелотта Больц спасает Варбурга и

себя, и бригаденфюрер не ошибся в выборе, приближая ее к себе.

Я сползаю с кровати и хватаю Больц за передник... Кобура на тонком ремешке болтается у меня перед лицом...

— Перестаньте!.. Перестаньте же, Лотта!

— О!..

— Что проку в мертвеце? — говорю я, когда Лотта делает попытку вырваться. — Остановитесь, Больц, и послушайте меня. Труп — это расследование, шум. Мы ничем не докажем, что нас шантажировали... Оставьте его и позвоните Эрлиху. Вы еще поблагодарите меня за этот совет!..

— Он... Он посмел!.. И кого? Варбург!..

Носок туфли шарфюрера впирается в переносицу Фогеля, но уже не с прежней силой и злобой, скорее по инерции... Поясным ремешком она связывает руки штурмфюрера, причем с такой энергией выворачивает раненую, что Фогель, застонав, приходит в себя. Больц, трудно дыша, оттаскивает его к стене и, прислонив полусидя, устремляется к телефону.

Доклад Эрлиху не занимает и минуты... Фогель слушает Микки, и по лбу его сползают капли пота. Кровь короткими толчками вытекает из дыры в мундире. Фогель мотает головой и мычит.

— Доигрались, — говорю я укоризненно. — И чего вам не сиделось под арестом?

Мне очень хочется, чтобы штурмфюрер сказал что-нибудь о Варбурге; портрет бригаденфюрера все еще остается недорисованным. Однако Фогель молчит; облизывает губы и трясет слипшимися волосами. Избитое лицо его распухает прямо на глазах... Молчание и три неровных дыхания — Фогеля, Больц и мое... Никак не могу успокоиться...

Эрлих приезжает один. Крупными шагами входит в спальню и, окинув Фогеля взглядом, кивает Микки:

— Ну?

Вслушав, достает сигарету и, не повышая тона, говорит:

— Развяжите... Свободны, шарфюрер!

Микки выходит, забыв притворить дверь, но Эрлих ничего не склонен упускать:

— Дверь, шарфюрер!

И ко мне.

— Извините, мсье Птижан. Маленькое недоразумение.

— Недоразумение? — с хрипом говорит Фогель. — Вы ответите...

— Обычная история, — словно не слыша, продолжает Эрлих. — Штурмфюрер переутомился, нервное напряжение, бессонница... На нашей работе это бывает. Доктор Гаук предупредил меня, что у штурмфюрера неврастения, но я не придал значения. Вероятно, болезнь зашла далеко.

— Это вы далеко зашли, — хрипит Фогель, прижимая к плечу быстро краснеющий платок. — Вы и Варбург... Мое доброе имя... Моя честь офицера СС! И все ради чего? Ради него — этого пожирателя пудингов, понадобившегося вам... Преданного фюреру офицера в расход, а?

— Договаривайте, — любезно говорит Эрлих и тонкой струй-

кой выпускает дымок. Губы его сложены трубочкой. — Доктор сейчас придет.

— Я и оттуда достану вас. Из сумасшедшего дома!

— Вряд ли!

— Мой рапорт дойдет!

Эрлих выпускает новую струйку.

— Я надеюсь на выздоровление. Боже вас упаси не справиться с недугом. Фюрер и рейхсканцлер недаром дали указание рейхсфюреру СС применять к безнадежным больным «эвтаназию». Германская раса будет полностью очищена от шизофреников, параноиков и дебилов. Сумасшедшие весьма отягощают наследственность... Гаук вылечит вас, Фогель, и все будет хорошо. Не так ли?

— Он истечет кровью, — осторожно напоминаю я.

— Пустое, мсье Птижан. В здоровом теле содержится семь литров крови. А он потерял не больше двух рюмок...

Эрлих ошибается. Больше, значительно больше... Я устанавливаю это, когда санитары и незнакомый врач в штатском несколько минут спустя забирают Фогеля и укладывают на носилки, предварительно замкнув браслеты на его запястьях. Эрлих что-то шепчет врачу, тот щелкает каблуками, и они отбывают, а Микки тряпкой и совком уничтожает лужу, натекшую там, где лежал Фогель. У лужи весьма приличные размеры.

— Переволновались, Одиссей? — спрашивает Эрлих с видом человека, лишенного нервов.

— Не очень, — говорю я.

— Ничего, сейчас поволнуетесь!.. Думаете, все кончено? Как бы не так!.. Фогеля не уберешь запросто; в больнице он будет безопасен, но пребывание там не вечно. Найдутся желающие помочь ему выбраться... Идите в кухню, Больц!.. Так вот, баланс наш, говоря на английском, «фифти-фифти». Где ваши люди, Одиссей? Время, сами видите, уплотнилось, и Варбург при известных условиях окажется не в силах нас прикрыть. Нам нужны быки. Жертвенные быки! Иначе...

— Пятнадцатого! — говорю я, думая о другом — о телефоне и дупле в каштане на бульваре Монмартр.

— Это крайний срок. Молите всевышнего, чтобы Люк пришел в магазин Форэ. Его мы не тронем, но связники, часть источников — этих под нож. Пока мы тянем время, держим засады в пансионе и на улице Миди.

— У Люка?!

— А вы что думали? На Центральной тогда слушали ваш разговор с «Лампионом», и будьте спокойны, Анри Маршан отнюдь не инкогнито... Не делайте больших глаз, Одиссей! Все по правилам. Вы брали свое, мы — свое. Вы вычислили точно, и патрули опоздали в «Лампион», хотя и побывали там не без пользы. Приметы Анри Маршана тоже кое-что значат, если умело построить розыск. Старую квартиру нашли без труда: Маршан регистрировал документы в мэрии, и нам через пять минут сообщили адрес... Квартира пуста — на иное я не рассчитывал, хотя люди, сидящие в засаде, надеются, что кто-нибудь придет... Время, Одиссей! Вы же знаете ему цену... Сколько я смогу тянуть?

Я протестующе поднимаю руку.

— Вы не джентльмен, Эрлих! Наш уговор...

— Бросьте, Одиссей. Вы разбираетесь в музыке? Так вот: есть основная тема, лейтмотив, и тема вспомогательная, замаскированная первой. Наш лейтмотив — разгром резидентуры СИС, и, как ни крути, вы мой агент. Все!

— Я не...

— Я сказал: все! Я безумно дорого заплатил за то, чтобы прикрыть вас. А что до контактов, то это тема вспомогательная, и я на вашем месте забыл бы о ней до лучшей поры.

— Вот как повернулось... — задумчиво говорю я. — Мой отчет и протоколы... Красиво, Эрлих!

— Господин Эрлих! Я попросил бы вас, Одиссей, впредь не забывать прибавлять это слово.

— Выходит, я двойник?

— А вы думали?

— Тривиальная история... — шепчу я и прикусываю губу.

Эрлих трет лоб ладонью, поправляет очки.

— Не огорчайтесь, Одиссей. Что вам до жертвенных быков? Фор ваш человек?

— Нет, конечно. Он понятия ни о чем не имеет. Просто явка — в магазине удобно встречаться. Не часто, конечно. Не верите?

— Не верить — наш принцип. Мы проверили. Фор действительно не ваш. Он сотрудничает с жандармерией негласно и помог нам, описав Маршана и вас. Он говорит, что встреч — о, случайных, естественно! — у вас было... Сколько их было?

— Три. Последняя — в первой декаде июля.

— Что же, вы не лжете... Слушайте, Одиссей! Бриссак, Фор, столб с «почтовым ящиком», засады, проверка личности Маршана и все такое прочее дают нам некоторый резерв дней на случай, если у меня потребуют отчет. Пока того, чем я располагаю, хватит, чтобы доказать вашу преданность нам, а не СИС. Но если пятнадцатого Люка не окажется на явке, делайте, что хотите, но головы вам не спасти. Мы умеем руки — я и бригаденфюрер... И завтра же на Монмартр, Одиссей! Я очень любопытен и мечтаю убедиться, что именно бульвар благотворно влияет на ваше самочувствие... Поправляйтесь, Одиссей!

— Спасибо, господин Эрлих, — говорю я и смотрю ему в спину.

У штурмбаннфюрера Эрлиха очень выразительная спина. Прямая, жесткая, ловко подчеркнутая мундиром, сшитым у дорожного портного. Презрение ко всем, в том числе и к Огюсту Птижану, начертано на ней аршинными буквами. Обладатель такой спины должен внушать простым смертным трепет и почтение... Глыба. Скала. Одна из скал... Валяй, Одиссей, лавируй меж скалами, в узком фарватере, изобилующем мелями и цепкими водорослями... В первый раз, что ли?

11. РУБАШКА И ЧЕПЧИК — АВГУСТ, 1944.

«В первый раз, что ли?» — говорю я себе, вслушиваясь в грохот ночной грозы, бесчинствующей над Парижем. Молнии падают где-то рядом, и я, приподняв жалюзи, всматриваюсь

в черные контуры и жду, когда очередной зигзаг высветит верхушку Эйфелевой башни. Грозу я люблю, зато терпеть не могу мелкий дождь — он действует мне на нервы.

Эрлих в рубашке с приспущенным галстуком сидит в кресле и кусочком замши протирает очки. Вид у него неважный. Веки воспалены, под глазами мешки, и щетина на подбородке, мелкая и частая. Я зеваю, прикрыв рот ладонью, и отхожу от окна, а Эрлих складывает замшу в квадратик и водружает очки на место. Отпивает глоток минеральной — прямо из горлышка.

— Язва, — объясняет Эрлих, отрываясь от бутылки. — Питание всухомятку, нервы... Иногда так схватывает, что хоть плачь.

— Дрянь дело, — сочувствую я, перекладывая плащ штурмбаннфюрера с кровати на пуфик. Плащ был мокрый, вода стекала на одеяло, а я терпеть не могу спать под ватным компрессом.

За весь прошедший час мы не перекинулись и десятком фраз. Голова у меня была ясная; днем температура упала, и рука ныла значительно меньше. Микки принесла две рюмки анисовой, белой и непрозрачной, и я выпил, ощутив во рту привкус «капель датского короля».

Я опять зеваю, напоминая Эрлиху, что ночь неподходящая пора для визитов. Чего ради он явился и молчит? Соскучился по обществу Птижана?..

Эрлих щелкает по бутылке ногтем и ставит ее на пол. Откидывается в кресле. Дождь тихо накрапывает за окном, и меня тянет в сон.

— Гадаете, Стивенс? — негромко говорит Эрлих. — Не ломайте голову.

— Вы здесь хозяин, — уклончиво говорю я.

— Так-то оно так... Что у вас там — анисовая? Пейте и мою, я не хочу. Пейте, пейте, вам понадобится еще не одна рюмка, чтобы переварить новости. Мне звонили из Берлина, Стивенс. Вами интересуется Шелленберг, разведка РСХА.

— Очевидно, Фогель?

— Нет. Группенфюрер Мюллер не станет делиться с Шелленбергом.

— Варбург?

— Давайте без имен.

— Хорошо, господин Эрлих.

— И без «господина». Простите, Стивенс, днем я был не в себе. Фогель задал мне хлопот.

— Кстати, не сочтите меня нескромным: что с ним?

— Плохо дело, — сумрачно говорит Эрлих и смотрит на меня в упор. — Фогеля из больницы забрал Кнохен. Рапорт попал по назначению, и все пошло вверх дном.

Не требуется титанического напряжения ума, чтобы сопоставить одно с другим и выстроить в линию имена Эрлиха, Варбурга и Шелленберга. Распря между гестапо и шестым управлением РСХА, занятым агентурной разведкой, не секрет для профессионала. Кнохен, вероятно, держит руку Мюллера из гестапо, а Варбург, как я и предполагал, человек Шелленберга.

— В любом случае прогадывает Стивенс, — говорю я, подводя итог.

— Может статься, если...

— Есть выход?

— Дайте мне Люка!

— Я помню об этом, Шарль. Но его нельзя будет брать!

— Он пойдет на перевербовку?.. Подумайте хорошенько, Стивенс. Ошибиться нам нельзя. Он кадровый?

— По-моему, да... До меня он вел резидентуру. Тот, кто был во главе дела, оказался не на месте. В Лондоне пришли к выводу, что он паникер, и при первом удобном случае перетасили через Ла-Манш. Люк около полугода работал один и замкнул на себя все связи. Потом меня забрали из Рабата и сунули сюда... Должен заметить, что я не плясал от радости. Мне и в Рабате хватало хлопот, присматривая за тамошними французами.

— Бог с ним, с Рабатом! Так что же Люк?

— Вам известно: я три месяца в Париже. Люк, по существу, стоит у руля. Формально дело веду я, но фактически все сосредоточено в его руках. Считалось, что так должно сохраниться, пока Птижан не наберется местного опыта... Что я скажу о Люке? Он волевой человек и мужественный. И у него ледяная голова.

— Расчетлив?

— Не в этом смысле. Он не из тех, кто теряет сон при появлении опасности... Но Люк — человек... и в чем-то, наверное, слаб.

— В чем? Именно это я и хочу услышать от вас.

— Он жизнелюб, — говорю я, подумав. — Он любит общество, музыку и хорошую выпивку. Помните — я засветился, а Люк торчал в кафе как ни в чем не бывало?.. Вот вам ключ, Шарль!

Дождь все идет, мелкий, пришепывающий. Эрлих горбится в кресле. Ему совсем нехорошо. На скулах проступают темные пятна; мешки под глазами набрякли. Рука под рубашкой прижата к животу.

— Ключ, — говорит Эрлих задумчиво. — Ах, как гладко у вас выходит, Стивенс!.. Чем больше я слушаю вас, тем больше восхищаюсь: всякий раз оказывается, что какая-нибудь мелочишка припасена вами про черный день... Портфель, например! О нем вы, конечно, забыли упомянуть в отчете. Скверная память, а?

— Не понимаю.

— Показать запись разговора с «Лампионом»?

— Ах вот вы о чем!

— Стивенс! Я не раз и не два ставил себя на ваше место. Я задавал вопрос: как бы повел себя Эрлих в камере английской тюрьмы? Возможно, мои поступки были бы адекватны вашим... Я не сторонник спешки и крайних мер, хотя, разумеется, и не альтруист. Поэтому давайте условимся: ваше молчание в первые дни понятно и оправдано мною, но больше не соблазняйте возможность утаить хотя бы пфенниг от компаньона... Что было в портфеле и откуда Люк его забрал?

— Инструкция Лондона, — говорю я неохотно. — И еще — деньги. Сорок две тысячи франков и семь тысяч триста шведских крон.

— Где они хранились?

— В банке.

Абонированный сейф в качестве хранилища конспиративных документов — личная идея Птижана, его собственность, и я дарю ее Эрлиху, будучи уверенным, что никто и никогда не воспользуется сейфом вторично. Разведка — сплошной парадокс; действующий по шаблону проваливается так быстро, что порой не успевает сообразить, как его выследили и посадили в комнату с решетками.

— Почему вы молчали?.. — начинает Эрлих и останавливается, невежливо перебитый Огюстом Птижаном.

— Как раз потому, Шарль! Я был уверен, что слухачи сидят на Центральной и пишут. Следовательно, имя Анри Маршана должно было стать известно вам в тот же вечер. Люк, как вы помните, сменил документы и квартиру, но для банка он должен был остаться Маршаном — на это имя я дал ему доверенность. Теперь прикиньте: я называю банк, вы устраиваете засаду, берете Люка, и комбинация, продуманная нами в семейном, так сказать, кругу, развивается уже без моего участия. Покажите мне любителей падать за борт, и я соглашусь, что был не прав.

Я говорю и в то же время не перестаю думать о Варбурге. Как Юлий Цезарь, если верить слухам, мог одновременно читать, писать и сплетничать с патрициями о проделках римских бонвиванов. В наши дни он недурно зарабатывал бы, выступая в цирке. Огюсту Птижану до него далеко, но маленьким искусством — говоря об одном, размышлять на иную тему — он овладел еще в школе. Не в средней, конечно, а в той, чей адрес не числится в справочных книжках и где круг предметов, пожалуй, пошире университетского. Дилетантизм в нашем деле так же вреден, как и узкая специализация.

Я немного разочарован: о Шелленберге Эрлих упомянул как бы вскользь, уйдя от него к Люку. Признаться, я полагал, что рано или поздно мы опять коснемся Шелленберга и Варбурга, этого невидимки, укрывшегося на вершине гестаповской пирамиды и упорно уклоняющегося от личной встречи, но... но Эрлих углубился в себя, и живой глаз его отсутствующе недвижим под толстой линзой очков.

Молчу и я, думая о Варбурге... Бригаденфюрер перестраховывается, заслоняясь от Кнохена и Мюллера Вальтером Шелленбергом. Плюс это или минус для Огюста Птижана? Люк уже действует, и поздно менять что-либо в маленьком экспромте, приготовленном нами. Вообще, как известно, лучше всего экспромты удаются, если их долго и тщательно готовить.

— Стивенс, — очень тихо говорит Эрлих. — Шелленберг потребовал отчета о результатах. Самое позднее — шестнадцатое. Больше я не скажу ни слова, но это вы должны запомнить. Шестнадцатое — крайний срок!

Я достаю пачку «Житана». Последнюю — запасы Эрлиха подошли к концу. Ногтем надрежаю бандероль. За двое суток я кое-как научился орудовать одной рукой. Пианиста из меня не выйдет, но разве мало профессий, когда человек не чувствует себя беспомощным и без пальцев на левой.

— Я поеду, — говорит Эрлих и встает. Плащ его высох.

Штурмбаннфюрер расправляет дождевик и так и замирает с плащом на весу, ибо телефон на тумбочке оживает и издает пронзительный звон, утроенный тишиной. Игнорируя предостерегающий жест Эрлиха, я беру трубку... Ну вот и экспромт!

— Алло!

— Птижан? — Голос Люка...

— Да, да, — говорю я.

Эрлих делает шаг, но я, уткнувшись в микрофон подбородком и сделав огромные глаза, шепчу: «Это Маршан».

— Огюст, — рокошет в трубке. — Это ты?

Я пялюсь на штурмбаннфюрера, взором испрашивая инструкций.

— Говорите же! — шепчет он и, подойдя ко мне, прижимается ухом к трубке.

— Люк? Как ты нашел меня?

— Случайно. Видел вчера входящим в подъезд.

— Скажите, чтобы перезвонил, — шепчет Эрлих и пальцами впивается мне в локоть. — Пусть перезвонит...

— Алло! Ты слышишь меня? Перезвони через пяток минут... Тут...

— Дама? — Мембрана трещит от смешка Люка. — Узнаю старину Огюста! Ладно. Пока...

Щелчок. Отбой... Эрлих трет лоб.

— Непостижимо!

— Что? — спрашиваю я.

— Потом... — невпопад говорит Эрлих и берется за телефон. — Гестапо! Дежурный? Срочно соединитесь с Центральной: пусть установят, откуда будут вызывать Центр — шестнадцать — два — один. Повторите!.. Пошлите туда машину и двоих из девятой комнаты, надо сесть абоненту на хвост. Всел

— Что будем делать? — спрашиваю я растерянно.

— Откуда Маршан узнал телефон? — вслух соображает Эрлих. — Когда он вас видел?

— Вчера...

— Где вы вылезли из машины?

— Разумеется, за углом.

— Почему же он не подошел? Почему?

— Спросите что-нибудь попроще.

Скулы Эрлиха напряжены. Плечи выпрямлены... Да, этот человек рожден для действия. Жаль только, что энергия, ум и воля его поставлены на службу самому отвратительному делу за всю тысячелетнюю историю человечества.

— Скажите, чтобы утром он позвонил еще раз. Часов в девять. Сейчас, мол, трудно говорить — у вас гостья, и никак не удастся ее выпроводить. Говорите только это, никакой отсебятины.

Мы стоим над телефоном — гробовщики у одра приговоренного к смерти. Усопшим должен стать Люк. Эрлих заранее прикидывает, по какой мерке выстругать доски.

Звонок ровно через пять минут. В педантизме Люк не уступает Эрлиху.

— Алло, старина. Где твоя знакомая?

— В ванне, — говорю я и в ответ слышу приглушенный смех.

— Ты неплохо устроился, Огюст. Я еле нашел тебя. Если бы не случай, я так бы и сидел до пятнадцатого... Как тебе удалось выбраться?..

— Люк! С ума сошел! Такие вещи по телефону... Удалось... Больше того, я зацепил крупную рыбу... Слушай, моя идет... Позвони мне утром. Можешь в девять?

— Приятных сновидений, — игриво говорит Люк и дает отбой.

Я едва кладу трубку, как телефон вновь разражается трезвоном. На этот раз Эрлих перехватывает инициативу. Я и не спешу, признаться, обходить его на финише, понимая, что это из гестапо. Так оно и есть... Эрлих, покусывая губу, выслушивает собеседника. Говорит:

— Пусть докладывают вам... Прочешите квартал! Не мог же он далеко уйти... Переключите меня на Варбурга.

Долгая, очень долгая пауза, и:

— Бригаденфюрер! Прошу извинения за беспокойство!..

Анисовая обжигает нёбо, холодит гортань. Странная это штука — анисовая водка, перно. С одной стороны — жидкая лава; с другой — арктический лед и привкус детских лекарств. Забавное и неправомерное сочетание.

Закончив короткий разговор, Эрлих минуту стоит, глядя прямо перед собой. Потом отходит от тумбочки, зацепив по дороге пустую бутылку из-под карлсбадской. Бутылка, звеня, откатывается в угол; из горлышка ее выползает капля.

— Маршан звонил из будки, — тускло говорит Эрлих. — Ваша мать не хвасталась, что родила вас в рубашке?

— Что-то не слышал.

— Но хоть чепчик был?

В голосе Эрлиха прорывается веселая нота. Лицо разглаживается. Он садится, подернув брюки и тщательно выровняв складку на коленях.

— Поступим так, — говорит он, доставая портсигар. — Утром назначьте Люку randevu. На двенадцать — здесь. Он согласится?

— Люк осторожен, а у подъезда...

— Снимем людей... Черт с вами, Стивенс, играть, так по-крупному!

— Арестовать проще, — осторожно говорю я.

— Что?.. Да, разумеется. Но мне нужен Люк, а не его труп. Люк живой и благодарный... Пусть будет, как решили. Я захвачу с собой некоторые документы и ту дезинформацию, которую вы проконсультировали. Как считаете, она убедит его?

— Надеюсь. Но почему вас интересовали мои рубашка и чепчик?

— Хотите коротко? Шестнадцатое — срок Шелленберга... Стивенс, будьте пайнкой и сделайте все, чтобы мсье Люк завтра ушел отсюда успокоенным. Не спугните его.

Я громко щелкаю пальцами.

— О-ля-ля! Люк опытен и знаком с методами слежки. Вы не прогадаете с «хвостами»? Попадись они Люку на глаза...

— Не попадутся. Его поведут так, что и с четырьмя глазами он не найдет за кормой ничего, кроме чистой струи.

— Очень образно, — говорю я, выбирая языком из рюмки последние капли перно.

Спать мне уже не хочется.

Люк позвонит ровно в девять утра...

12. КТО ЕСТЬ КТО! — АВГУСТ, 1944.

...Люк позвонит ровно в девять утра.

Сейчас семь без нескольких минут. Микки хлопчет в кухне, звенит посудой и что-то напевает, а я в шлепанцах на босу ногу слоняюсь по спальне, убивая время. Дом просыпается, наполняясь звуками. Все этажи встают примерно в один час. Никого из соседей я не видел в глаза, но по меньшей мере о четверти из них знаю немало. Надо мной живет семья, где трое детей. По утрам я слышу их голоса, топот ножек, возню. Изредка стучат каблуки взрослых: чок-чок-чок — женские легкие; и звонкое цок-клац, цок-клац — мужские, с подковками. Муж скорее всего военный; штатские не носят обуви с металлическими накладками на каблуках и у мысков... Подо мной расположился одинокий музыкант — неудачник, должно быть. Стоит послушать, с каким прилежанием терзает он от зари до заката свою скрипку, сбиваясь на одних и тех же местах, чтобы понять — Паганини из него не получится... Напротив — старая чета; через дверь я слышу иногда, как они, собираясь на прогулку, подолгу стоят на площадке. «Где мой зонт, Софи?» — «О дорогой, держись за перила... Умоляю, будь осторожнее!» — «Обопрись на мою руку, Софи... вот так... Боже, какая крутая лестница».

Весь низ, до бельэтажа, занимает магазин. Рядом с его дверью наш подъезд, узкая дыра, плохо освещенная; в комнате консьержа закопченные стекла в свинцовом переплете и окошечко для ключей... Обычный доходный дом, где люди с достатком занимают бельэтаж, а повыше селятся те, чей имущественный ценз убывает прямо пропорционально очередности этажей...

Я слоняюсь по комнате, и события последних двух недель проецируются в моем сознании мутными, смазанными кадрами. Похоже на то, как бывает в дешевых киношках, где пропойца механик вечно забывает наладить аппаратуру, лента то и дело рвется, изображение скачет и меркнет, а зрители свистят и кричат: «Рамку! Рамку!»

В моей ленте крупным планом мельтешит узкое лицо Циклопа с длинным породистым носом и золотыми очками... Бумажка в два фунта стерлингов свела нас. Заурядный случай, предусмотреть который не в силах был бы ни один прозорливец. В деле, которым занят я, любая мелочь опасна, а человек — только человек, и ему не дано объять необъятное. Я тысячу раз мог «засветиться» до того дня и столько же раз избегал провала. Случайность, как ни странно, всегда двойка в своих последствиях — единство противоположностей, что ли... На-

верное, так. Эрлих считает, что я родился в рубашке. В чепчике, на крайний случай. Звонок Люка представляется ему именно случайностью, помогающей Птижану на какое-то время избежать путешествия в Берлин, где на Принц-Альбрехтштрассе некто Мюллер «папаша Мюллер» из гестапо ждет Огюста, чтобы вытянуть из него все касающееся связи с бригаденфюрером Варбургом... Ничего, подождет. Я слишком долго готовил свою случайность — изображал сумасшедшего, цепенел от наркотика, пять, десять, двадцать раз повторял одно и то же на допросах у Эрлиха. Все было трудно. Чертовски трудно, сознаюсь. Я и сейчас слышу свой крик, когда Фогель и Гаук вгоняли золлингеновский металл под ногти Птижана... Кто из них был страшнее и опаснее? Фогель — с его фанатической верой в бессмысленность существования любого немца? Гаук — ржущий, как лошадь, и готовый делать вид, что верит в сумасшествие испытуемого, и изучавший меня чертовски внимательно с одной целью: понять, заговорю ли я под пыткой. Он знал, что я симулирую, выгадываю время, но не мешал — исследовал мою психику и старался расположить к себе... «Ты неплохо держался, — подвожу я итог. — Но не обольщайся, Огюст! Это еще не точка».

Трудно мне сейчас. Честно говорю: трудно... А что было легко? Даже такая вещь, как записка Люку, стоила мне нервов и ухищрений. Эрлих позаботился, чтобы в квартире имелось все, кроме письменных принадлежностей. Я незаметно обшарил ее в первые же сутки и не нашел ни клочка бумаги за исключением... туалетной... Да, он педант, штурмбаннфюрер Карл Эрлих — чисто германское достоинство. Даже осколка грифеля он не оставил Птижану. Но и другие эсэсовцы тоже были педантами: выпуская Огюста на свободу, они вернули ему абсолютно все отобранное при аресте. В том числе и превосходное вечное перо фирмы «Монблан». Я писал записку в клозете в несколько приемов. Надо было уместить порядочный текст на прямоугольнике величиной в две этикетки «Житана». И это мне удалось — Микки ничего не заподозрила... Дупло каштана на бульваре Монмартр, вполне естественный полубоморок, присутствие Эрлиха — вот так и родилась моя случайность. Люку не требовалось рыскать по Парижу и чудесным образом наткнуться на меня у подъезда. Телефон был упомянут в записке среди других подробностей... Один знакомый — поэт — неделями отшлифовывал двухстрочные «экспромты»; Огюсту Птижану на его «экспромт» было отпущено несколько суток. И все же я успел. Звонки сюда — так было предложено в записке, засунутой в дупло. Я предупредил Люка, что возьму трубку сам лишь в том случае, если Эрлих окажется в квартире. Если же нет — Микки опять пришлось бы отвечать, что здесь нет никакого Шульца... Полдела сделано... Эрлих сам определил дальнейшее течение событий, и мне остается одно — ждать.

Я забираюсь в постель и открываю роскошный том Розенберга. «Миф XX столетия» и гитлеровскую «Майн кампф» Микки принесла с собой. Чтение их, очевидно, должно было скрасить досуг Огюста Птижана. С томиком в руке я вытягиваюсь на хрустящей от крахмала простыне и придаю своему лицу вы-

ражение, близкое к глубокой заинтересованности. Микки очень нравится, когда я взахлеб зачитываюсь ее богами.

Интересно, сведет ли еще Огюста Птижана судьба с шарфюрером Лоттой Больц? Скорее всего да. Зато Гаука и Фогеля я вряд ли увижу. Не скрою: при мысли об этом Огюст не испытывает чувства скорби. Единственное, чего я им обоим желаю, — скорейшей смерти во здравие неарийской части человечества.

Приготовил ли Эрлих сюрприз — вторая мысль, занимающая меня и, пожалуй, концентрирующая на себе все внимание. Не верится как-то, что штурмбаннфюрер станет придерживаться программы, выработанной им при участии Птижана. Я не удивлюсь, если он приедет задолго до двенадцати и не один... Варбург?... Прибудет он сюда или нет?... Здравый смысл подсказывает, что бригаденфюреру рано еще выходить из тени, но с этими господами из РСХА никогда нельзя быть уверенным ни в чем...

«Хватит! — говорю я себе. — Лежи спокойненько и не ломай голову...» Книжка, переложенная зеленой лентой, летит на пол, и Огюст Птижан, повернувшись на правый бок и поудобнее пристроив поверх одеяла белую култышку, закрывает глаза и заставляет себя дремать... Неудачник этажом ниже выводит скрипичные рулады, а Микки в кухне напевает: «Три козочки паслись на берегу... Три козочки с серебряными рожками...» Перед глазами у меня проплывают серые тени, и материнская рука забытым теплом согревает щеку... Кто бы знал, как я хочу домой!..

«Кофе сварен, сынок...» — говорит мать...

— Кофе сварен, сынок! — повторяет штурмбаннфюрер Эрлих, когда я открываю глаза.

Микки с подносом и Эрлих — не сладостное пробуждение.

— Без четверти девять, — говорит Эрлих, не трата слов на приветствия. — Кофе сварен, осталось его выпить. Я приехал пораньше, чтобы быть поближе к сцене.

— Могли бы не объяснять, — бормочу я, подтягивая сползшее одеяло.

На Эрлихе знакомый мне костюм — букле песочного цвета, излюбленный бордовый галстук с жемчужиной и туфли из тонкого шевро. Вместо прежних очков — роговые, придающие ему солидность. Эрлих вообще-то человек без возраста, но сейчас я определяю с точностью плюс-минус три года, что ему сорок пять — гораздо больше, чем я думал раньше. Легкомысленная золотая оправка его молодила.

— А где же автоматчики? — говорю я, взирая на черную кожаную папку, зажатую под мышкой штурмбаннфюрера. — В ней?

— Вы неисправимы... Свободны, Больц!

Лотта выходит, и стук закрывающейся двери совпадает с телефонным звонком. Дав аппарату издать парочку трелей, я снимаю трубку... Ну вот и началось!

— Доброе утро, Анри!

— Салют, Огюст. Ты один?

— Досматривал сон...

Ухо Эрлиха касается моего; оно плотно прижато к тыльной

стороне эбонитовой чашечки. Пальцы штурмбаннфюрера механически расстегивают и застегивают пуговицу на пиджаке.

— Ты что-то не в духе, — говорит в мембрану Люк.

— Да нет, ничего... Запомни адрес, Люк!

— Твой? Я и так знаю. Говори этаж. Справа или слева?

— Четвертый, слева, звонок в виде розы, кнопка красная.

— Когда?

— В двенадцать...

— О'кэй! — коротко заключает Люк, и голос его сменяется сигналом отбоя.

Эрлих оставляет в покое пуговицу и приглаживает волосы. Папка косо торчит из-под мышки.

Десять минут спустя, попивая кофе, мы рассматриваем бумаги из папки. Эрлих основательно подготовился. Вместе с дезинформационным материалом, сработанным при моем участии и занимающим пять страничек папирсной бумаги, он принес несколько достоверных на вид документов — с регистрационными номерами, многочисленными отметками исполнителей, визами и черными грифами «гехайм», оттиснутыми штампами. Одна из бумажек снабжена даже пометкой: «Только для высшего командования. Дело государственной важности. Подлежит уничтожению». Липа, стопроцентная липа. Варбург и сейчас не рискнул пойти ва-банк. Документы сделаны мастерски, и я по опыту знаю, что такие не скоро удастся раскусить...

— Ну как? — спрашивает Эрлих безмятежным тоном.

— «Бронза»! — говорю я. — Люк не клюнет.

— Это подлинники!

— Разве? И этот с пометкой «Только для высшего командования»?

Я делаю все от меня зависящее, чтобы голос звучал спокойно. Неужели я своими руками поставил Люку ловушку?! Документы Эрлиха не оставляют сомнения, что вместо переговоров Анри Маршана ждет арест.

— Bravo, — спокойно говорит Эрлих. — Тысячу раз bravo, Стивенс. Пожалуй, вы действительно годитесь в союзники. Согласись вы, что документы настоящие, мне пришлось бы выбирать между двумя версиями. Первая — вы профан; вторая — вы намерены провалить игру... Вот подлинники, смотрите...

Он достает из внутреннего кармана три листочка, скрепленных зажимом. Тексты на машинке, следы прошива, захваченные пальцами края. Я вчитываюсь в них и нахожу, что данные не слишком первоклассные, но для первого шага то, что требуется.

Я встаю и, в шлепанцах на босу ногу, иду к окну. Тростниковое жалюзи, шелестя, уползает под потолок, открывая окно и вид из него... Улица пуста. Две «тени», обычно маячившие возле тумбы с афишами, испарились, исчезли, растаяли в воздухе.

— Я держу слово, — холодно говорит Эрлих. — Маршана не тронут. Он потащит «хвостов» — и только. Согласитесь, это мое право, Стивенс!

— А Больц?

— Она останется.

— Вам нужен свидетель? Эрлих! Это же верх неосторожности. Третий лишний при таких сделках.

— Больц — это Варбург. Я твердил бригаденфюреру то же, что и вы мне. Но у него свое мнение, а вам знакома пословица — кто платит за музыку, тот и заказывает танцы.

Мелкий, но просчет... Все у тебя отлично продумано, Циклоп! Но в пустяках ты допускаешь ошибки. Бригаденфюрер Варбург, всерьез идя на контакт с Интеллидженс сервис, на измену рейху и обожаемому фюреру, ни за что не посвятил бы в свои дела третьего человека. Шарфюреру Больц объяснено не более положенного ей по чину: гестапо внедряется в резидентуру СИС, Стивенс — перевербован, в итоге — аресты англичан. Роль Больц — роль свидетеля, могущего в любой инстанции показать, что бригаденфюрер действовал исключительно в интересах рейха.

— Хорошо, — невесело соглашаюсь я. — Танцы — танцами, но понравятся ли ноты первой скрипки.

— Люку? Ему придется примириться с присутствием Больца. Вы его уговорите.

Больше мы не касаемся этой темы; пьем кофе, жуем экзотические бутерброды с маргарином и сыром. Одну за другой я выпиваю три большие рюмки перно. Спиртное помогает забыть о боли в руке.

Просмотр документов, разговоры и неторопливый завтрак — три часа. Сто восемьдесят минут антракта между действиями на маленькой сценической площадке в центре Парижа. Актеры вызубрили свои роли, режиссер торчит где-то за кулисами; лишь публики нет, да она и не нужна на нашей премьере. Эрлих правильно поступил, убрав соглядатаев от подъезда... Ровное, ничем не нарушаемое спокойствие приходит ко мне, и я, не вздрогнув, иду к двери и открываю ее, впуская Люка. Двенадцать без двух или трех минут...

В полутемной тесной передней Люк обнимает меня.

— Старина!

Рука его с размаху хлопает меня по спине. Тяжелая рука. Люк хрупок внешне, но силен и жилист как черт... Шляпа заломлена, широкий бант галстука по моде слегка приспущен. От него пахнет хорошими духами и бензином... Значит, он приехал на машине и вел сам.

Когда звонок парадной выстрелил в тишину, Эрлих сорвался было с кресла, но одумался и подтолкнул меня:

— Лучше вы... Больц! Немедленно в кухню. И не скребитесь там!.. Минутку, Стивенс!

Выдержка у него железная! Люку пришлось четырежды позвонить, а штурмбаннфюрер все еще придерживал меня за пазуху, втолковывая, что при любой неосторожности он пристрелит Птижана вот тут, на месте, и что лучше не шутить с огнем.

— Ну, — сказал Эрлих напоследок. — С богом, Стивенс!

...Я забираю у Люка шляпу, вешаю ее на крючок стенного шкафа и, взяв под руку, веду в комнату... Эрлих медленно встает с дивана.

— Это кто? — настороженно спрашивает Люк.

Я перевожу взгляд с него на Эрлиха и говорю:

— Гестапо!..

Тишина чистая и прозрачная, как в лесу.

— А! — только и говорит Люк и опускает руку в карман.

Я хватаю его за плечо и повисаю на нем. Эрлих, быстрый и точный, бьет Люка в живот, пригибает к полу, умудряясь при этом отобрать пистолет...

— Ты не понял! — кричу я. — Подожди, Анри... Ты ни черта не понял!.. Я все объясню...

Дикие глаза Люка. Эрлих с пистолетом. Больц, влетевшая на шум, — маленький «вальтер» в руке... Бац! Искры, огромные, как елочные звезды, сыплются у меня из глаз. Рука у Люка тяжелая... От второй затрешины я, покачнувшись, натыкаюсь на стол, а от третьей, стягивая за собой плюшевую скатерть, сажусь на пол...

— Подлец! — с омерзением произносит Люк.

— Я все объясню, — хриплю я, слизывая кровь с разбитой губы.

— Успокойтесь, мсье Маршан, — по-французски говорит Эрлих и, выбросив обойму из пистолета, кладет его на стол. Следующую фразу он произносит на скверном английском: — И в гестапо могут быть друзья, согласитесь, сэри!

Люк — увы! — не владеет английским, но реакция у него превосходная.

— Изъяснитесь по-немецки, — зло говорит он на правильном хох-дейче.

— Все в порядке, — улыбается Эрлих. — Лотти, вы нам мешаете... Сейчас вы все поймете, мистер Маршан.

Люк угрюмо опускает глаза.

— Тут все ясно, — говорит он. — Сколько вы заплатили этой сволочи?

Не меняя позы, Люк выслушивает Эрлиха. Штурмбаннфюрер со штабной краткостью и деловитостью обрисовывает обстановку и в заключение протягивает Люку руку. Я все еще сижу на полу и страхуюсь на тот случай, если Анри решит еще разок разыграть приступ ярости... Рука Эрлиха повисает в воздухе, а я хвалю себя за благоразумие: саксонская ваза превращается в многообразные по форме осколки, один из которых царапает мой лоб.

— Не верю! — ревет Люк и ищет еще что-нибудь, чтобы запустить в Эрлиха.

Он отлично ведет себя, старина Маршан, и, будь мы в школе, я не колеблясь выставил бы ему в дневнике высший балл... Целых полчаса уходит на то, чтобы успокоить Люка и убедить его, что Эрлих — друг, а не враг. Люк недоверчиво листает документы, то и дело прерывая чтение вопросами. Меня он игнорирует, адресуясь исключительно к Эрлиху.

— Что вас заставило?

— Диалектика. Динамика развития, мистер Маршан.

— Исход войны, — вмешиваюсь я. — Здесь собрались умные люди, Анри. Вспомни, разве не мы с тобой докладывали Лондону, что второй фронт многих отрезвил? К тому же русские вот-вот забьют гвозди в крышку гроба империи, а наш



друг Эрлих не из тех, кто хочет оказаться под этой самой крышкой.

— Это так, — коротко говорит Эрлих.

— Он реалист, и ты, Анри, на его месте действовал бы так же.

Постепенно и неохотно Люк дает убедить себя.

— Извините, сэр, — говорит он мне, предусмотрительно

придерживаясь хох-дейча; по-английски он владеет тремя фразами: «О'кэй», «Ай эм вери, вери сори» и «Гуд бай, сэр». — Все слишком неожиданно.

— Не беда, — отвечаю я прокровительственно и встаю с пола.

— Я бы выпил чего-нибудь, — говорит Люк.

— Сейчас устроим.

Пожалуй, теперь уже ничего не стрясется, если побудут с глазу на глаз... Решив так, я отправляюсь на кухню, где Микки помогает мне отыскать перно и шнапс. Она ставит бутылки и стаканы на поднос, и я смотрю на ее шею, нежный затылок с завитками волос и думаю, что выбора у меня нет... Микки и не охает, падая без сознания; я здоровой рукой подхватываю ее, пристраиваю в уголке и, затаив рот платком, связываю



упаковочным шпагатом. Его у хозяйственной Больц сколько угодно — целая бобина, — подвешенная к посудной полке. Шпагат тонок, и мне приходится истратить добрую его половину, пока руки и ноги шарфюрера Лизелотты Больц не кажутся мне лишенными возможности выполнять свои функции. Прихватив «вальтер», я поправляю бутылки и хрусталь на подносе и возвращаюсь в комнату.

— Долго же вы, — говорит Эрлих. — И слава богу! Мы, кажется, нашли общий язык... Пожалуй, я тоже выпью. Прозит!

— Прозит! — в тон отвечаю я и поднимаю рюмку. — Значит, вы пришли к соглашению?

— Не совсем, — поправляет Люк. — Мистер Эрлих против подписок.

— Это так! — говорит Эрлих. — Судите сами, господа. Вас — будем мыслить здраво! — могут случайно взять. Обыск — и мне конец.

— Завтра же она уйдет в Лондон. Вы не рискуете, Эрлих. Говоря, я подхожу к окну и, словно невзначай, оглядываю улицу. Пост у афиши вакантен. Нет людей и у подъезда... Не пора ли?

Я отхожу от окна и, подмигнув Люку, приставляю «вальтер» к шее Эрлиха.

— Руки на затылок. И, пожалуйста, тише.

Люк, не давая штурмбаннфюреру опомниться, выворачивает его карманы.

Эрлих не шевелится; лицо его застывает, и голос ровен, когда он говорит словно бы про себя:

— Зачем все это, господа?

— Для уверенности, — отвечает Люк.

— Неумно, Стивенс. Сами все портите.

— Скажи ему, Огюст! — советует Люк.

— Пусть так — я дам обязательство.

— Не спешите, — говорю я; рука у меня начинает болеть. — Бумагу вам дадут, ручку тоже. Обязательство — это потом. Сначала напишите, в силу каких причин бригаденфюрер Варбург пошел на измену рейху. Мотивы! Оставьте историю с начинкой об «игре» и проверкой.

— Скомпрометируете Варбурга?

— Все в свое время, Эрлих. Будете писать?

— Ваши аргументы неотразимы...

Он еще ничего не понимает по-настоящему, а я не тороплюсь объяснять.

Исповедь на двух страницах. Эрлих четко расписывается и ставит дату. Я читаю текст, а Люк держит штурмбаннфюрера под прицелом. «Учитывая обстановку на фронте... бригаденфюрер Варбург склонил меня к измене... по его поручению...» Все как следует.

— Теперь подписка? — говорит Эрлих, массируя уставшую ладонь.

— Да, — говорю я и передаю листки Люку. — Пишите: «Я, Карл Эрлих, штурмбаннфюрер СД, обязуюсь сотрудничать, начиная с сего, 14 августа 1944 года, с военной разведкой Генерального штаба Советской Армии».

Вот когда его проняло!.. Люди белеют по-разному. Один начинает бледнеть с шеи, у другого кровь отливает сначала от щек, но чтобы человек серел вот так сразу и весь целиком — это я вижу впервые. Готов поручиться, что у него и спина не розовее штукатурки...

— Нет... — говорит Эрлих.

— Не позерствуйте! — толкует Люк.

— Нет! — Он еще раз повторяет: — Нет, — непреклонно и жестко.

Люк настороже, но перехватить Эрлиха ему не удастся. Мы падаем все трое, свиваемся клубком; боль в руке заставляет меня кричать: я откатываюсь и пытаюсь помочь Люку, прижатому к паркету. Эрлих бьет его в шею, в ямку у ключицы. Двести английских фунтов веса — ровно столько наваливается на штурмбаннфюрера, когда я, пересилив боль, повисаю у него на спине... Возня; тяжелые вскрики; минуту или

две мы барахтаемся, пока Люку не удастся надавить на сонную артерию Эрлиха...

Я встаю на колени и дышу широко открытым ртом.

— Здоров!.. С-сильный гад... — бормочет Люк и садится, подобрав пистолет. — Надо его связать...

— Да, — говорю я и заставляю себя подняться, чтобы пойти в кухню за шпагатом. В дверях я поворачиваюсь и вижу, что Эрлих открывает глаза.

Я не успеваю добраться до кухни — хлопок, возня и крик Лиска:

— Огюст!

Скорее назад!

— В чем дело?

— Смотри...

У Эрлиха — бывшего штурмбаннфюрера СД Эрлиха — нет лица. Крошечный «вальтер», точная копия того, что я отобрал у Микки, валяется на сбитшемся ковре.

— Что ты наделал; Люк! — говорю я.

— Он сам... Хотел в меня... Я пытался отнять...

Какая теперь разница, где ухитрился прятать Эрлих второй пистолет. Я сажусь на диван, почти совершенно обессиленный.

— Дерьмо дело... — говорю я. — Вы должны были выйти вместе...

— Здесь есть черный ход?

— Нет.

— Пожарная лестница?

— Что толку? Нас накроют и перестреляют. Эрлих держит на улице людей, они должны вести тебя до квартиры.

Люк бешено оскаливает зубы.

— Пробьемся, дружище, меня прикрывают двое парней из группы...

— Нет, Люк.

— Я говорю, пробьемся!

— Нет, старина, — повторяю я и качаю головой. — Все не так... Ты уйдешь через несколько минут. Примерно столько ты должен был бы пробыть здесь, удайся вербовка. Гестапо поведет тебя до дому. Не старайся улизнуть... У тебя есть квартира, с которой можно уйти ночью? Нет! Не ночью!.. Не уверен, что... Словом, неважно. С квартиры уйдешь буквально сразу же. Есть у тебя такая?

— Конечно. А ты, Огюст?

— Забери документы. Самое ценное — признание о Варбурге. Да ты и сам это понимаешь. Мертв Эрлих или жив — все одно Варбургу не вывернуться. Сообщи Центру, что мы постараемся использовать его как источник... Я имя ему придумал — Зевс... На всякий случай, если что, не меняй его, пожалуйста. Ладно? И последнее: когда оторвешься от хвостов, позвони сюда. Из будки, разумеется. Сможешь через час? Значит, так — ровно через час!

— Мы выйдем вместе, — твердо говорит Люк.

— Не дури, старина. И не заставляй меня напоминать о долге, дисциплине и многом ином... Скажи лучше, куда мне направиться, если все обойдется?

— Улица Рошфора, тридцать, угловой дом. Документы лежат

в квартире, в трельяже. Между стеклом и доской. Консьерж предупрежден, что ты снял квартиру заочно.

— Как меня зовут и номер квартиры?

— Роже-Клод Гранжак. Номер одиннадцать.

— Спасибо за каламбур! Был маленьким Жаном, стал большим Жаком. Это твоя идея?

— Документы «живые», — говорит Люк. — Пришлось переклеить фото — и только. Не я их доставал.

— Понимаю... А теперь прощай, Люк. На всякий случай: прощай!

— Ты второй раз говоришь «на всякий случай». Я не иду!

— Пойдешь, Люк, — говорю я и веду его, упирающегося, к двери.

Прислушиваюсь. Тихо. Хлопнула в квартире пробка от шампанского — разве это повод будоражиться целому дому? Слава богу, что дамский «вальтер» бьет еле слышно...

Я приоткрываю дверь и, не давая Люку сказать и слова, выталкиваю его на площадку. Замок щелкает — створки двери сомкнуты, отрезая меня от друга. Быть может, навсегда...

Скрипач в квартире подо мной все еще играет. Пассажи, выдираемые им из инструмента, скрежешут по перепонкам... Все продолжается... Все. В том числе и война. До конца еще не близко.

Через два часа я попробую уйти. Не знаю, удастся или нет, но я попытаюсь... Центр получит шифровку о Варбурге, и Люк, в случае чего, доделает работу.

В третий раз я повторяю: «В случае чего...» И все же...

Эрлих мертв, но жив бригаденфюрер Варбург. Очень аристократичный и тонкий индивид, чрезвычайно дорого ценящий свою интеллектуальную голову. Сдается мне, что он-то и выведет меня отсюда. Сам. И, пожалуй, с такими почетом и предосторожностями, с какими не вывозили в сказочных каретах своих единственных возлюбленных утонченные принцы в горностаевых мантиях. Впрочем, кареты мне не нужно: я согласен на авто марки «хорьх» или «мерседес»... Весь вопрос в одном — соединит ли меня телефонист гестапо с бригаденфюрером? Если да, то — я уверен! — Варбург ни за что не откажется повидаться со мной здесь и поговорить по душам. Через час позвонит Люк, и Варбургу придется услышать о себе все то, что так толково и обстоятельно положил на бумагу всесторонне осведомленный СД-штурмбаннфюрер Эрлих. Мертвый хватает живого!.. Что ж, справедливо. Все в принципе справедливо в нашем мире, где по сокровенному закону бытия предопределено в итоге итогов полноправное торжество добра над злом...

Я надеваю шляпу, забываю Люком в стенном шкафу, и улыбаюсь. В настенном зеркале отражается полный мужчина в шляпе, шлепанцах и изодранной пижаме... Пора переодеться.

— Не робей, Одиссей! — говорю я, подмигивая своему отражению.

Ничего не кончено. Ровным счетом ничего. Мне обязательно надо доплыть до родного берега и, сойдя на него, отряхнуть с подошв пыль странствий. «Где ты был, Одиссей?» — спросят меня. «Работал, — отвечу я. — Как и все мы — работал...»

Ф А Э Т Ы

Научно-фантастический роман в трех частях

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БРАТЬЯ

НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ

Итак, я — Инко Тихий, носивший на Земле имена Кетсалькоатля и Кон-Тики, возобновляю после пробуждения свои записки — отчет перед Разумом. Переход от сна к бодрствованию заложен в существе каждого, но требуется время, чтобы организм начал работать нормально. В «Хранилище Жизни» автоматы, пробудившие меня, не только отогрели мое тело, вернули силу мышцам, ввели в кровь бодрящие вещества, но и сообщили мне угол сдвига созвездий. Я был потрясен сознанием числа пролетевших тысячелетий. Меня разбудили люди, поднявшиеся в космос на своей высшей ступени развития. Я сам мечтал об этом, но увы! Мое пробуждение не принесло мне полного счастья...

Не знаю, чем вызвана мучительная боль в затылке: остаточным состоянием длительного замораживания или напряжением, с которым я старался взглядом включить автоматы пробуждения Эры.

Эра лежит спокойная и прекрасная, такая же, какой я видел ее на ложе холодного сна перед тем, как самому занять место рядом. Я не только помню, я ощущаю ее светлую прощальную улыбку.

Ее губы и сейчас полуоткрыты, готовые снова улыбнуться, ресницы способны вздрогнуть, глаза открыться, но... моя Эра остается недвижимой.

Возможно, за время сна я утратил силу взгляда, в моем мозгу произошли какие-то изменения, и его ослабленные биотоки не в состоянии привести в действие автоматы...

Мои новые братья, на которых я лишь и надеюсь, проявляют ко мне участие. И мне стыдно признаться, что они кажутся мне более чужими, чем их дикие предки, которых я стремился приобщить к добру и знанию.

Те люди древности были яснее для меня: они боялись боли и смерти, но были отважны, они любили неистово и ненавидели

Окончание. Начало в предыдущем выпуске «Искателя».

безмерно, покорно трудились, но стремились к богатству и власти, были жестоки и кровожадны, но бывали нежны и сострадательны. А главное, всегда стремились узнать больше, чем знали, шли всегда вперед, жадные к неизвестному.

Новые люди, напоминая во многом прежних, все же в чем-то другие. Если младший брат их вождя как-то ближе и понятнее мне, то сам вождь с его уверенностью в гибели марианской цивилизации и даже с упрямой надеждой на это (во имя чего?), хоть и не жесток и кровожаден, как жрецы Толлы, но неприятен мне.

Женщины не играют, по-видимому, у них первой роли, как на Маре, но не подчинены мужчинам, как на древней Земле, и даже каким-то способом влияют на поведение мужчин. Сами они тоже принадлежат к изучающим, хотя и должны будут выполнять все обязанности матерей. Эта двойная нагрузка представляется мне странной. Может быть, моя Эра, проснувшись, ближе сойдется с ними, поймет их. Но ее нет со мной...

Боль в затылке невыносима. Что предвещает она? Скорый мой конец? Старшая из земных женщин, местная сестра здоровья, исследовавшая окоченевший труп фазтессы, сомневается, полностью ли я подобен человеку и можно ли ко мне применять знакомые ей средства?

Но боль в затылке ничтожна по сравнению с болью в сердце. Ловлю себя на том, что я, ради любви к людям ушедший из своего времени, недостаточно сердечно отношусь сейчас к ним.

После совместного полета с Далем (так зовут брата вождя прилетевших людей) к «Хранилищу Жизни» и бесплодных попыток включить автоматы для пробуждения Эры я узнал, что земляне решили переправить «Хранилище Жизни» к Земле, чтобы изучающие могли там применить все свои знания для спасения Эры. Я благодарен им, я не напрасно поверил в них, погружаясь в холодный сон, но ведь у них нет нужных знаний!..

Я охотно согласился помочь вождю прилетевших людей, Галактиону, в попытке найти мариан. Правда, цели у нас с ним разные. Он стремится найти лишь следы их бывшего пребывания на Маре, убежденный в гибели цивилизации мариан, мне же нужны они сами, сохранившие древние секреты холодного сна и способные пробудить Эру.

Самое трудное — это не поддаться ужасающему одиночеству, победить свое горе, победить самого себя. Мне удалось это сделать потому, что мое желание спасти Эру совпало со стремлением людей разведать Мар и спуститься на его поверхность.

Но что я увижу там? Ведь тысячелетия прошли не только в космосе, они пролетели и на Маре. Какой они оставили след? Ведь ничто в мире не может быть неизменным. Неужели прав холодный Галактион?

Я указал пилотам, в какое место следует посадить корабль, чтобы оказаться вблизи Города Долга.

Город Долга! Его символом были древнейшие стихи Тони Фаз!.. Как хотелось бы прочесть их людям на земном языке!

У меня был пример Даля, овладевшего мертвым языком мариан, и опыт изучения древних живых языков Земли. И я принялся изучать современный язык землян. Он назывался рус-

ским, одним из самых распространенных в числе многих, все еще сохранившихся на Земле.

Мой словно просветлевший за время бесконечно долгого отдыха мозг подобен высохшей губке, жаждущей влаги. Он с легкостью впитывал в себя новые понятия. Люди радовались моим успехам и уже обменивались со мной репликами без переводчика.

К этому времени «Поиск» (улыбка судьбы снова свела меня с этим названием корабля) спустился на Мар.

С той же тревогой, что и люди, смотрел я на поверхность родной планеты, которую, казалось, оставил совсем недавно.

Сколько охватывал взор простиралась голая равнина, изрытая ямами, полужансенными песком. На непривычно близком (по сравнению с Землей) горизонте виднелась серебристая башня «Поиска», а за нею — горная гряда.

Хребты были на прежних местах, но в остальном я не узнавал Мар. Где же оазисы, на которых работали мариане в скафандрах? Где же марианская растительность, пусть уступающая земной, но все же живучая, сочная, вкусная? Наконец, где же тоненькие цепочки следов остродышащих ящериц, единственных живых существ, обитавших на поверхности Мара?

Пустыня была мертва. Поражало отсутствие знакомого кратера, в котором прежде был оазис с утесом городских шлюзов перед ним.

В моем шлеме люди поместили электромагнитное устройство, позволявшее мне слышать их голоса. Я теперь уже достаточно понимал каждого из них, но в решительную минуту нам приходил на помощь Даль.

Глядя на мертвые пески, Галактион сказал:

— Анчару бы расти в этой пустыне, чахлой и скупой.

— Анчар — ядовитое дерево смерти из стихов нашего великого поэта, — объяснил Даль.

Дерево смерти! Даже ему не было места в этой пустыне!

— Оазис... здесь... был, — выговорил я на языке людей.

— Оазис? — переспросил Галактион. — Был? Это очень верно! И совпадает с моей теорией гибели марианской цивилизации.

Несколько дней подряд прилетевшие люди, называвшие себя археологами, с помощью хитроумной машины раскапывали горы песка. Однако все было напрасно.

Фиолетовое небо, красноватые пески, синие, словно земные тени, горы... «Планета Анчар», как назвал Мар Галактион, объясняя, почему никто не обнаружил здесь следов жизни.

Мой скафандр фазтов был неуклюж, и я почти не мог помогать людям. Как я жалел, что у меня не было легкого скафандра, в каком я выбегал когда-то на поверхность Мара!

Обе женщины всячески помогали Далю.

— Галактион! — позвала старшая (Эльга) мужа. — Твердая порода. Оплавленный гребень. На метеоритный кратер не похоже.

У меня перехватило дыхание. Я хотел объяснить Галактиону, что мы у цели! Но все русские слова разом вылетели у меня

из головы. А Даль был занят с младшей из сестер (Таней) определением состава найденной породы. Он называл обнаруженные вещества, которые говорили им многое, а для меня были новыми понятиями, доказывающими, что здесь когда-то произошел ядерный взрыв.

Я понял, что ядерные взрывы — это и есть распад вещества, погубивший цивилизацию фазтов.

— Галактион, — торжественно сказал я. — Мы у цели. Вы, люди, обнаружили занесенный песком кратер, оставшийся от войны распада между базами Фобо и Деймо, начатой накануне гибели Фазны. Город Долга поблизости. Его почему-то тоже занесло песком.

— Потому что некому стало очищать скалу от наносов, — уверенно ответил мне вождь людей.

— Стебелек! — раздался взволнованный крик младшей сестры, Тани.

— Это первая такая находка на Маре, — обрадовался Даль. — Спасибо тебе, Инко, без тебя мы ее не нашли бы.

Я с грустью рассматривал стебелек со свернувшимися трубочкой листьями. Трудно было в нем узнать предка той самой кукурузы — дара звезд, — которая была привезена нами на Землю. Когда-то подземная река по прорытому древними марианами глубинному руслу питала влагой исчезнувший оазис. Но, видно, еще действовала бывшая оросительная система, если стебелек вырос здесь сам собой!..

Галактион сказал:

— Если и было орошение, то оно давно заброшено. Можно удивляться, что потомки фазтов так долго жили на непригодной планете. Возможно, они переселились на Землю и какой-нибудь земной народ-завоеватель являет собой их потомков.

Меня покорило такое предположение.

— Мариане не способны на завоевания!

— Но твои рассказы, Инко, должны были заронить в твоих соплеменниках желание жить под открытым небом, дышать естественным воздухом среди щедрой природы. Ради этого можно было и потеснить на Земле малокультурные племена. Все ясно! Очевидно, мариане и составили основу населения материка Мю! Вот почему там была так высока культура. Моя гипотеза подтверждается, многое становится понятным!

Что я мог возразить? Отказываться от надежды, что потомки переселившихся на Землю мариан сохранили в древних письменных секретах холодного сна? Я стал расспрашивать о материке Мю.

— Увы, друг, — ответил Даль. — Материк Мю, если и существовал, то погиб в одном из катаклизмов, потрясших Землю многие тысячи лет назад. Едва ли кто-нибудь мог выжить или сохранить письмена. Но земные ученые помогут тебе, откроют секрет холодного сна вновь.

Галактион торопил продолжать раскопки, ему хотелось добраться до утеса шлюзов, и он все расспрашивал меня, где его искать.

Я первый заметил хорошо знакомый мне по прежней жизни на Маре зловещий столбик песка на горизонте и предупредил людей о надвигающейся опасности.

— Мы не станем бросать раскопки, — упрямо заявил Галактион. — Лишь ради них мы здесь.

— Надо спасаться, — убеждал я.

Я уже переживал подобную бурю, когда с Моной Тихой отправился в заброшенный Город Жизни искать тайник добра и зла.

Буря, как и тогда, упала прямо с неба. Люди еще не знали, что на Маре вихревые возмущения атмосферы перемещаются не только по поверхности планеты, но и вертикально.

Вихрь обрушился на пустыню, и она ожила в неистовом, но мертвом движении. Ураган сбил всех с ног, кроме меня, устоявшего благодаря неуклюжему, но устойчивому скафандру фазтов.



Рисунки Ю. МАКАРОВА

Внутри шлемов проникал грохот бури, пересыпавшей горы песка. Небо скрылось. Тяжелые тучи спустились к самой поверхности, а им навстречу встала черная колонка, которую люди зовут смерчем. Упершись в небо, он словно закрутил там тучи спиралью.

Скоро и мой скафандр не удержал меня на ногах. Я оказался рядом с Галактионом, который пытался с помощью электромагнитной связи передать на корабль местонахождение своей экспедиции, чтобы пилоты потом могли откопать нас.

Я услышал в шлеме и голос Далья, говорившего на родном мне языке. Он тревожился, но, оказывается, не за себя, даже не за женщин. а за меня, свидетеля древности.

— Нельзя, чтобы все так нелепо кончилось, — сказал он.

— Нельзя, — согласился я, думая о спящей Эре. — Будет страшно, если она проснется, а меня не будет.

— Мы выживем, Инко! Нам нельзя не выжить!

— Ты знаешь, горячий Даль, когда меня еще не повалило, я успел заметить, что черный смерч, пройдя вблизи засыпанного кратера, на миг открыл утес шлюзов.

— Вот видишь! Я говорю, мы не имеем права погибать! — взволнованно воскликнул Даль, но уже по-русски.

— Не имеем, — подтвердил Галактион.

— Как же нам выбраться? — спросила Таня. — Нас засыпало, как в могиле. — И она замолчала.

— Не смей, Таня! Ты девушка Земли, — сказала Эльга, очевидно не желая, чтобы люди проявляли при мне слабость.

А я и сам был в отчаянии оттого, что не могу что-либо сделать, никому не могу помочь, что никогда больше не увижу ни Мара, ни Земли, ни Эры...

И тут Даль сказал:

— Выжить — это наш долг.

Долг? И я прочитал на родном своем языке стихи о Долге:

Есть нечто более важное,

Чем счастье,

Более прекрасное,

Чем любовь,

Более ценное,

Чем жизнь.

Это нечто — ДОЛГ.

Без долга не было бы

Ни жизни, ни любви, ни счастья.

— Сильные слова, — помолчав, сказал Даль и добавил по-русски: — Люди в неоплатном долгу перед марианами, обратившими столкновение Земли с Луной.

УЧЕНИЕ СТРАХА

С горьким чувством иду я по затхлым и пыльным галереям глубинного Города Долга. Только в ближних к шлюзам пещерах можно встретить бесшумные тени... Да, только «тени мариан»! Как мало напоминают они моих современников!

Великий Жрец всюду сопровождает меня. Походя на большого ребенка с тоненькими ручками и ножками, он не достаёт мне до плеча и говорит дребезжащим, плаксивым голосом:

— В древней келье, которую отыщет божественный Инко, будет создан храм, где поклоняющиеся воздадут сердечную хвалу сыну Моны-Запретительницы.

Мне уже привелось быть богом Кетсалькоатлем на Земле, и я поклялся никогда больше не играть подобной роли; и вот, спустя тринадцать тысяч лет, помимо моего желания, меня снова

провозглашают божеством, но теперь на родном Маре, не знаящем в мое время никаких суеверий.

Жрец привык к моим протестам и терпеливо разъясняет божественное учение страха.

— Как могли вы дойти до этого? — перебиваю я.

И Старый Жрец не устает напоминать, что еще Великий Старец (их главный бог!) первым наложил запрет на опасные знания. Затем его великий пророк Мать Мона запретила полеты в космос к Земле, населенной чудовищами, которые вырывают друг у друга сердца и стремятся в своей свирепой жестокости к захвату чужих стран, к порабощению или уничтожению народов. И эти демоны непременно прилетят на Мар, чтобы разделаться с марианами. У мариан одно средство спасения: уйти навек в глубинные убежища и никогда не появляться на поверхности. Вот почему уже тысячи циклов в пустынях Мара не осталось никаких следов мариан, все оазисы засыпаны песком, великое орошение заброшено, мариане питаются только тем, что можно получить в недрах.

Итак, Великий Старец — первый бог, а чудесные стихи Тони Фаэ, нашего древнейшего поэта, стали теперь бездумными молитвами. Мариане бормочут их во время религиозных обрядов. Невежество порождено страхом, разложившим культуру, убившим Знание. Не мудрено, что ни Великий Жрец, изучавший больше других, ни кто-либо другой из мариан ничего не слышали о холодном сне. Для них я просто бессмертен, как и подобает богу. Бедная моя Эра! Кто пробудит тебя? И когда?

С немалым трудом нахожу я в сети новых пробитых туннелей старую «пещеру подземного дерева». Конечно, от растений не осталось и следа, но древние кельи на месте. И мое сердце болезненно сжалось. Грустно смотрю я на знакомую с детства стену. Сейчас здесь нет энергопотока, и на ней не вспыхивает красками взрыв метеорита, сразивший моего отца. На месте былой картины среди каменных натеков с трудом можно угадать древний барельеф с чудо-башней фаэтов, с помощью которой они летали среди звезд. При виде очертаний сказочного корабля горькие воспоминания охватывают меня. Рассматриваю сохранившиеся фигурки в диковинных скафандрах, и они оживают в моей памяти. Вот так с краю могла бы стоять Кара Яр, холодная и яркая, мужественная и спокойная. Рядом с нею Нот Кри, всегда споривший, ничего не принимающий сразу, бесстрастный в суждениях, но безутешный в любви и горе. Одна нашла себе могилу в земле инков, разверзшейся под нею, другой не пожелал выплыть из водоворотов острова Фату-Хива. А вот справа — моя несравненная, нежная, кроткая и самоотверженная сестренка Ива! Она осталась на Земле ради людей с другом своей жизни, мудрым добряком Гиго Гантом. А вот эта, едва различимая фигурка в центре, словно прикрытая каменным занавесом, могла бы быть моей Эрой, которая не умерла, как все другие, и которая все же не жива.

С потолка кельи свисает сталактит, которого не было прежде. С полу к нему тянется оплывший сталагмит. Здесь на этом месте услышал я впервые стихи Тони Фаэ о долге:

«Без долга не было бы

Ни жизни, ни любви, ни счастья!»



Я произнес эти слова, когда нас с людьми засыпало песком и уже не осталось надежды на спасение.

А жрецы страха, оказывается, в ужасе наблюдали за действиями страшных пришельцев, свирепых демонов Земли, ищущих вход в Город Долга, чтобы вырвать сердца у мариан, захватить их родные пещеры.

И жрецы иступленно молили всемогущего бога, Великого Старца, спасти мариан, послать на земные чудовища все силы Мара.

И когда, словно в ответ мольбам, взмыли в воздух тучи песка и Черный Смерч засыпал жестоких демонов, на глаза у бледных перепуганных мариан навернулись слезы благодарности.

И вдруг электромагнитная связь, перехватывавшая до сих пор лишь устрашающую речь землян, донесла до мариан слова главной из молитв, которую читал кто-то из пришельцев на древнейшем языке мариан, сохранившемся в богослужениях.

Мариане были потрясены. Ведь им напомнили о долге, всколыхнули доброе начало, заложенное в сердце каждого. И мариане, преодолев свой страх, пришли на помощь засыпанному песком пришельцам. Они не могли не прийти. Такова была их сущность.

И в шлюзе города, освобожденные от скафандров, мы, пришельцы (я и мои новые друзья с Земли), жадно вдохнули искусственный воздух Города Долга.

Мариане топтались вокруг нас, протягивая тоненькие ручки, большеголовые, похожие на робких и любопытных детей, наивных, пугливых и добрых.

Надо было видеть, в каком неподдельном ужасе шарахнулись они в сторону, узнав, что пришельцы действительно люди с Земли (то есть демоны), а я — древний марианин, легендарный Инко, сын Моны-Запретительницы, покинувший Мар более шести тысяч циклов назад, а значит, живое подтверждение божественного учения страха. Ведь именно Инко встречался на Земле с чудовищами, вырывавшими сердца, именно из-за него Мона запретила полеты на Землю.

Я постарался разуверить их в своей божественности, рассказал о холодном сне, даже признался, что рассчитываю на их помощь в пробуждении Эры, но маленькие большеголовые дети лишь недоуменно моргали огромными, как у ночных птиц Земли, глазами. Они ничего не знали о холодном сне и той, что до сих пор спит в «Хранилище Жизни».

Даль, мой новый друг, стал с жадностью расспрашивать мариан, которые с трудом понимали его. Галактион и Эльга показали себя подлинными изучающими. Несмотря на все пережитое, они были увлечены теперь историей «ископаемой народности», как назвал Галактион глубинных мариан.

Мне же было горько узнавать историю увядания великой марианской культуры, наследовавшей цивилизацию фаэтов, ныне задавленной, поглощенной религией страха.

Видимо, не сразу восторжествовало это мрачное учение. Культура мариан долго сопротивлялась. И не один раз был нарушен запрет Моны лететь к Земле. Но, очевидно, привезенные оттуда впечатления говорили не в пользу людей. И недаль-

новидные Советы Матерей вместе с новыми жрецами повернули цивилизацию мариан в тупик. Уничтожались всякие следы пребывания мариан на поверхности. Ее можно было видеть лишь жрецам-стражам через оптические устройства, которые люди называли «перископами».

От такого перископа не отходила младшая из женщин Земли, Таня. Она больше других страдала от заключения, первая ощутила себя пленницей.

Мариане, конечно, не прибегали к силе, к принуждению. Мы пользовались в Городе Долга полной «свободой». Но скафандры и шлемы с переговорными устройствами у нас не было.

Когда Таня увидела в перископ космонавтов с «Поиска», бродивших на месте наших недавних раскопок, она поняла, что не в состоянии дать им о себе знать без скафандров и шлемов. Она попросила Дalia объяснить марианам, что необходимо сигнализировать людям. Но мариане боялись. И слова Дalia напугали их еще больше. Таня не понимала этого, не могла понять.

Мне тоже нелегко было понять, как мариане отказались от познания Вселенной, вычеркнули из своих знаний звездное небо. Выводы учения страха, хоть на чем-то прежде основанные, постепенно выродились, превратились в пугающие образы демонов с Земли. Как же могли мариане выдать свое присутствие этим демонам, сила которых таилась, конечно, в их угрожающей башне.

И мариане затаились в своих норах. А вместе с ними «свободными пленниками» сидели и мы.

Космонавты приходили к месту раскопок каждый день и, выбиваясь из сил, пытались откопать наши трупы. Но им удалось найти лишь механический копатель, которым управлял Дalia, и больше ничего.

По-видимому, они получили с Земли какое-то указание, по которому что принесли с собой странное сооружение из легких труб. Они оставляли указательный знак на том месте, где «погибла первая марианская археологическая экспедиция», чтобы новые корабли землян могли найти это место и откопать погибших археологов.

Оставив знак, пилоты двинулись к видневшемуся вдали «Поиску». За ними потянулись цепочки следов на песке.

— Они уходят! — в отчаянии крикнула Таня. — Они сейчас улетят!

Рыдания не надо переводить на другие языки, они понятны всем и на Земле, и на других планетах.

— Надо догнать, остановить их, — сказал Дalia и обратился к Великому Жрецу, умоляя его отдать хотя бы один скафандр или даже шлем от него, в котором было переговорное устройство.

Великий Жрец закивал своей тяжеловесной для его хрупкого тела головой, что означало у мариан отрицание, отказ.

Мне пришлось объяснить это Далию.

Мы с ним вместе прильнули к перископу.

Шлюзы находились над нами, выбитые в утесе. Я хорошо знал их устройство. Их никто не охранял, да мариане и не способны были применять силу.

Решение озарило меня. В памяти вспыхнули незабвенные дни юности и увлечение бегом без дыхания.

Кара Яр, Нот Кри!

Многим тогда это казалось нелепым дурачеством. Но вот настал миг, когда я должен был доказать, на что способен марианин.

— Что он делает? — закричала Таня. — Остановите его!

Мариане испуганно отшатнулись от меня, когда я ринулся к шлюзам.

Без всякого скафандра, в одном облегающем костюме, в каком я пролежал тысячелетия в «Хранилище Жизни», я выскочил из шлюза в пустыню.

Здесь, на Маре, я уподобился земным ловцам жемчуга, ныряющим порой на несколько минут в океан.

В свое время, увлекаясь бегом без дыхания, мы с Ивой и Карой Яр мечтали, что мариане когда-нибудь смогут приспособиться к «острому дыханию», наподобие остродышащих ящеров, чтобы наши потомки смогли наконец выйти из глубинных убежищ на поверхность, под фиолетовое небо. К сожалению, это так и осталось несбывшейся мечтой. На деле наши «потомки» совсем отказались от поверхности планеты с ее непригодной для дыхания атмосферой. И их раса совсем увяла... в глубине.

Но я принадлежал еще к прежним марианам, которые шутя, ради спорта, пробегали без дыхания в пустыне по тысяче и больше шагов.

Помню, как волновал меня всегда переход от сумрачной пещеры к сиявшей в лучах солнца пустыне. Правда, это не шло ни в какое сравнение с земным освещением. Но глаз наш непостижимо приспособляется к самым резким изменениям силы света.

Я бежал, вначале зажмурившись, потом открыл глаза и увидел перед собой две удалявшиеся фигуры в скафандрах.

Сколько сот шагов до них?

Ноги мои размеренно двигались, неся меня.

Последний вдох я сделал в шлюзе перед тем, как выскочить в пустыню. Конечно, ни один марианин не мог представить себе, что это возможно. Но я должен был спасти людей, должен был спасти мариан, победив их лжестрах, должен был пробудить свою Эру.

Я пробежал шагов триста. В глазах у меня помутилось. Ведь я так давно не тренировался в этой игре!.. И все-таки навыки, обретенные моим телом ценой неустанных тренировок, не исчезли бесследно. Даже спустя долгие годы (я исключаю тысячелетия сна, к счастью, ничего не изменившего во мне), словно ощущая вернувшуюся юность, я превратился в бег. Да, именно не бежал, а превратился в бег. В другое время я не поверил бы, что это возможно... И еще мне в спину дул ветер, больно ранив песчинками голый затылок, шею и уши, но помогая бежать.

Вскоре я почувствовал, что бежать больше не могу, рот открылся, чтобы глотнуть отравленный воздух, как это бывает на Земле с тонущими. Мне показалось, что ноги мои подкашиваются, в глазах помутнело.

Но, сильно нагнувшись вперед и вынеся перед собой ноги, я не упал. И еще через мгновение снова с прежней яркостью увидел башню корабля «Поиск», две фигуры в скафандрах, приближавшиеся к нему.

Я думал только о том, что от того, добегу ли я до корабля или нет, зависит все будущее Мара, мариан, людей, Эры...

И силы вернулись ко мне раньше, чем я пробежал половину пути до «Поиска». Снова ноги сами собой понесли меня к цели.

Тут один из космонавтов обернулся, может быть, для того, чтобы в последний раз взглянуть на оставленный знак, насколько он приметен. И он увидел меня, ошеломленный несуразным видением. Мог ли человек (а я ему представился, конечно, человеком) бежать без скафандра по пустыне чужой планеты?

Он неуклюже бросился мне навстречу. Но я бежал быстрее. Сказались мои натренированные в земных условиях мышцы. Ведь на Маре для меня была лишь половина привычной тяжести. И я не бежал, а летел к «Поиску».

И добежал. Я промчался мимо космонавта, спешившего ко мне (это был Крутогоров), мимо другого, только теперь обернувшегося на возглас командира.

Я ухватился за внешние скобы, как когда-то в древности мой друг Чичкалан (Пьяная Блоха), и взлетел по ним к корабельному шлюзу, который открывался сам собой.

Больше я ничего не помню.

Глава третья. ДОЛГ РАЗУМА

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я поклялся вернуться к своим запискам лишь в день пробуждения Эры. И вот я дождался его.

Трудно передать, что переживаю я сейчас, умудренный несколькими жизнями, которые прожил на непохожих планетах в разные тысячелетия.

Я снова чувствую себя робким, как в непостижимо далекой юности. Мне страшно предстать перед Эрой. Какие чувства вызову я в ней: радость или горе? Имею ли я право что-либо напоминать ей, вступающей в новую жизнь? Люди слишком часто разрушают свои семейные пары, расходятся. Можем ли мы с Эрой быть исключением?

Вместе с двумя земными учеными вхожу я в космический корабль ближних рейсов, который постоянно курсирует между земными научными центрами и «Хранилищем Жизни», доставленным на околоземную орбиту.

Сколько раз я уже подлетал к этому космическому центру, выросшему вокруг прозрачной камеры, где продолжала спать моя Эра!

В стороны от прозрачного куба протянулись толстые спины

огромного колеса, напоминавшего базу Фобо. По существу, это и была орбитальная научная станция, на оси которой, сохраняя невесомость парящего в воздухе саркофага Эры, находилось «Хранилище Жизни». В ободе же колеса, где ощущалась нормальная земная тяжесть, работали, сменяя друг друга, ученые. Сменяя... в поколениях.

Сколько раз я посещал их лаборатории, знакомясь с ходом столь трудных, требующих невероятной выдержки и терпения планомерных и неотступных работ. И всякий раз я просил провести меня к прозрачной камере с висящим саркофагом, вход куда до поры до времени был строжайше запрещен. Через прозрачные стенки и крышку «гроба», биованны, я любовался чертами дорогого мне лица.

Оно, как на миллионах изображений, знакомых каждому живущему на Земле, оставалось прежним, готовым улыбнуться, ожить, радуясь свету и добру...

Я занимаю кресло напротив профессора Неона Дальевича Петрова. Неон — сын моего первого друга среди новых людей. Виднейший биолог (жизневед по-мариански) объединенного мира Земли, посвятивший свою жизнь проблеме анабиоза высших организмов. В свое время Даль сказал, что если не он, то его сын Неон сделает так, что я увижу свою Эру живой и по-прежнему прекрасной.

Сам Даль занимался совсем иными проблемами, но слово свое сдержал. И теперь напротив меня сидят его сын, заслуженный профессор, и его внук, молодой ученый. Десятки тысяч животных были погружены ими в холодный сон и благополучно вернулись к жизни. Более тысячи человек проделали на себе опаснейший эксперимент и были пробуждены. И последним из них стал сам Неон Петров. Потому он кажется таким молодым, хотя недавно отметил свой пятидесятилетний юбилей, а также появление внучки, которую называли Эрой — и в честь моей подруги, ждавшей своего пробуждения, и в честь новой эры (такое совпадение звуков марианской и земной речи!), наступившей со дня начатого полвека назад «космического переживания крови».

Сын Неона Иван сам разбудил отца после его семилетнего сна в анабиозе. Это была первая крупная научная работа молодого ученого.

Но что значат семь лет по сравнению с тринадцатью тысячами лет моей Эры! Но ведь я-то живу, как и все остальные на Земле, спящие только по ночам! Так я успокаиваю сам себя.

Неон уверен в успехе пробуждения, к которому так долго никто не решался приступить. Но я знаю: более критически настроенный и не по летам осторожный Иван волнуется.

Из тысячи человек, погружавшихся в анабиоз, только двое не проснулись. И трое скончались вскоре после пробуждения.

— Только пять человек на тысячу, — говорит Петров-отец.

— Целых пять человек на тысячу! — говорит Петров-сын.

Все зависит, как на это смотреть...

Но почему мне волноваться? Поколения ученых в течение полувека во всех тонкостях изучали аппаратуру древних мариан. Разобрав саркофаг-биованну, в которой я спал, они построили второе «Хранилище Жизни» и для пробы усыпляли и

пробуждали в нем животных и людей, самоотверженно шедших на рискованный опыт.

Чем отплатить мне им? Впрочем, они рассматривают свои усилия как выполнение долга перед марианнами, в свое время предотвратившими столкновение Земли с Луной.

Пилоты привычно подвели космический корабль к месту стыковки. Мое сердце колотилось в груди, готовое выскочить. Я не думал, что оно может так биться у стариков.

Бритое энергичное, оттененное седоватыми висками, пожалуй, даже чуть суровое лицо Неона Петрова спокойно, а Иван щурится, проводит рукой по белокурым длинным волосам и нервно тербит курчавую, плохо растущую бородку.

По внутреннему переходу в месте стыка корабля мы перебираемся на орбитальную станцию. Научные сотрудники исследовательского центра почтительно встречают своего руководителя и радуются Ивану, общему любимцу.

Неон действует быстро и решительно. Слишком много времени уже было затрачено на подготовку. Он предлагает немедленно приступить к пробуждению Эры.

К своему изумлению и радости, я узнаю среди присутствующих, прилетевших раньше нас, своих старых друзей: прежде всего Эльгу Сергеевну, ныне члена-корреспондента Академии наук, все еще бодрящуюся, но сильно расплывшую женщину с белоснежными волосами, заложенными тяжелым узлом на затылке. Десять лет назад я присутствовал на ее серебряной свадьбе с академиком Леонидом Песцовым. Галактион Петров, тоже давно уже академик, не мог ей простить разрыва с ним, к которому, по его мнению, не было никаких внешних поводов, и спустя столько лет все же не явился на серебряную свадьбу. Но сюда он прилетел. Очень постаревший, сутулый, с ненужной в условиях невесомости, но привычной палочкой в руках, он стоял в стороне, удерживаемый магнитными подошвами. Он присутствовал здесь как самый почетный гость, как руководитель первого отряда ученых, нашедших в космосе «Хранилище Жизни».

А вот Даля и его жены Татьяны Сергеевны, моих самых близких друзей, не было. Оба они много лет жили вместе в Антарктиде. Он освобождал ото льда материк, а она искала на нем стоянки доисторического человека, и не только искала, но и нашла незадолго до своей кончины. Я обещал прилететь к одинокому теперь Далю, и, возможно, с Эрой, после ее пробуждения...

После пробуждения!

Как предстану я перед нею, седобородый старец, заканчивающий свою жизнь на Земле, куда мы с Эрой так стремились? Ей еще предстоит увидеть дальнейшую жизнь людей, тех, кто распространяет сейчас на весь Земной Шар принципы, которые мы вместе с нею закладывали когда-то в основу общины инков: трудятся все, бесплатный хлеб всем...

Кем я стану для Эры? Древний старик, лишь носящий имя любимого в прошлом юноши? Живое, но «дряхлое», материализовавшееся вдруг воспоминание о прежней жизни?

Впрочем, я не так уж дряхл. В особенности если сравнить меня с Галактионом или хотя бы с тем же неистощимым ве-

сельчаком Песцовым, супругом Эльги Сергеевны. По курьезному стечению обстоятельств, если сбросить со счетов время моего многотысячелетнего сна, то я как-никак моложе этих академиков.

Слабое утешение! Вряд ли оно поможет Эре перенести неотвратимый удар.

Но ничего не поделаешь. Можно с помощью холодного сна перескочить через десяток тысячелетий, но невозможно двинуться даже на день назад, не говоря уже о том, чтобы помолодеть хоть на десять лет! Таков закон причинности!

Десять лет! Смешно! Что значат они в моем преклонном возрасте? Восемьдесят, семьдесят — не все ли равно!

Чтобы быть ровней моей Эре, мне надо помолодеть на пятьдесят, вернее на пятьдесят один земной год!..

Цилиндрический коридор, в конце которого помещалось «Хранилище Жизни», чем-то напоминает мне оранжерею фазтов, хотя он и непрозрачен.

Мы, присутствующие при пробуждении, стоим около единственной прозрачной стенки, примыкающей к «Хранилищу Жизни». Отсюда виден висящий в воздухе «гроб» моей Эры. Впрочем, его надо называть биованной.

Иван ведает автоматикой, той самой, которая не сработала полвека назад. Неон руководит последовательностью операций, отвечая за их биологический и психологический результат. Мы с ним долго обсуждали, как подготовить Эру к встрече со мной.

Неон — человек редкого хладнокровия и чуткости. Меня он понимал с одного взгляда. Мне не приходилось встречать подобных людей или марсиан даже в мое далекое время. В нем словно одновременно жили Нот Кри, Кара Яр и Гиги Гант, друзья моей прошлой жизни.

Он утешал меня:

— Хорошо, что тебе, Инко, не удалось в свое время включить автоматику биованны Эры. Из-за обнаруженных неисправностей Эра никогда не проснулась бы.

Так, или почти так сказали бы мне Кара Яр или Гиги Гант.

— Чудо, что тебе удалось проснуться самому. Теперь все будет в порядке. — Это уже звучал голос Нота Кри.

И так же, как пятьдесят один год назад, я видел заполнившийся мутным туманом прозрачный куб «Хранилища Жизни». Но теперь передо мной был специальный экран, на котором можно было наблюдать без помех все, что происходит в камере.

Крышка гроба поднялась, та самая крышка, которую я так безуспешно пытался поднять силой воли, даже отчаянием.

И лицо Эры дрогнуло. Ресницы шевельнулись. Нежные губы раздвинулись в улыбке.

Это было невероятно! Незадолго до этого ледяная, мертвая, как метеорит, она ожила теперь в улыбке...

Глаза ее открылись, и она стала ими кого-то искать около себя. Потом сделала резкое движение корпусом (ее мышцам, разогретым массажем, была возвращена бывшая сила). От этого движения тело ее взмыло над «гробом» и повисло в тумане.

Наука Земли победила! Чудо свершилось! Но почему же чудо? Тринадцать тысяч лет? Но ведь одноклеточные организмы,

обнаруженные в вечной мерзлоте Земли, оживали спустя двести пятьдесят миллионов лет! Значит, не чудо, а явление природы, которым можно овладеть. И я сам тому первое доказательство. Но теперь не я один буду свидетелем древности.

На экране было видно, как озабоченно озирается Эра, конечно разыскивая меня. Она уже заметила исчезновение из камеры второго саркофага. Он был давно извлечен, чтобы на нем изучить всю технику марианского холодного сна.

Неон Петров подошел ко мне и тихо сказал:

— Ты можешь обратиться к ней, Инко. Она должна узнать твой голос, если... если память ее проснулась вместе с ней.

Неон испугал меня, и я поспешно позвал Эру через микрофон.

— Эра, родная! С бодрым утром новой жизни!

— Инко?! Какое счастье! Ты уже проснулся? Где же ты? Кто нас разбудил? Люди или мариане?

— Люди, подруга моя! Люди, которые достигли того уровня развития, о котором мы с тобой для них мечтали.

— Как хорошо, — вздохнула Эра. — Но где же ты, почему я только слышу твой голос и не вижу тебя?

Я любовался лицом Эры на экране, сменой на нем радости, недоумения, тревоги, потом снова счастливой улыбки.

Профессор Неон Петров решительно открыл дверь в прозрачную камеру и смело вошел в нее. Клубы пара вырываются ему навстречу и окутывают нас, словно морозный воздух Антарктиды, хлынувший в теплое помещение.

— Приветствую тебя, дочь мудрых мариан, просветительница людей! — сказал он на великолепном языке древних мариан, специально овладев им с помощью аппаратов Черного Принца и нашей с Далем консультации. — Приветствую тебя, гостью людей, вступающую в новую жизнь.

— Привет тебе, Человек, знающий наш язык. Но я могла бы сама говорить с тобой на одном из земных языков. Скажем, на языке людей Толлы или инков, наконец, даже на языке шумеров.

— Лучше я буду говорить на твоём языке, самоотверженная Эра. Языки, о которых ты вспоминаешь, почти все забыты на Земле.

— Ты пугаешь меня, Человек. Я только что слышала голос моего Инко, но вижу только тебя. Что с ним? Жив ли? Не запись ли его голоса слышала я?

— Он жив и ждет тебя. Но я должен убедиться в твоём хорошем самочувствии прежде, чем подвергнуть тебя столь тяжёлому потрясению.

— Потрясение? Ты правильно сказал на нашем языке? Почему потрясение? Не все удачно было с его пробуждением?

— С его пробуждением было все удачно.

— Значит, с моим? — догадалась Эра.

Неон помог Эре встать на пол камеры и показал, как пользоваться магнитными подошвами.

— Ты человек, пробудивший моего Инко? — спросила Эра, взяв с ботинком и поглядывая снизу вверх на Неона.

— Нет, не я, которого зовут Неон, а мой отец Даль.

— Он был стар, твой отец, когда пробуждал моего Инко? — осторожно спросила Эра, выпрямляясь.

Подошел Иван Петров, застенчиво глядя на прекрасную царевну из давней сказки.

— У него борода, как у моего Инко в юности, — кивнула в его сторону Эра.

— Это мой сын и первый помощник. Имя его Иван.

— Шумеры звали моего Инко Оанном. Где он? Ты не отвечаешь, как давно твой отец разбудил его?

Неон медлил с ответом, и это намеренное промедление было подготовкой к тому, что должно было обрушиться на Эру.

— Мой отец Даль, первый знаток языка мариан, разбудил твоего Инко еще до моего рождения.

— Но у тебя взрослый сын! — с ужасом произнесла Эра. — Или теперь вырастают быстрее?

— Прежде чем наши «жрецы здоровья» начнут знакомиться с



тобой, чтобы оградить тебя от всех невзгод, ты увидишься со своим Инко.

На лице Эры легли решительные морщинки между бровей и по обе стороны губ.

— Я готова ко всему, — раздельно произнесла она.

Неон сделал знак, и я отделился от толпы встречающих Эру в новом тысячелетии и направился в прозрачную камеру.

Я старался держаться прямо, почти отрываясь от магнитных подошв, которыми прищелкивал при каждом шаге.

Туман уже рассеялся, и Эра могла видеть меня.

Все два года, которые Неон после окончания собственного сна готовился к пробуждению Эры, я ни разу не рискнул посмотреть на себя в зеркало. Мне было страшно. Но свою белую бороду я мог видеть и без зеркала. Конечно, ничего не стоило ее отрезать. Но разве в ней только было дело? Я старался все эти годы, живя предстоящей встречей с Эрой, поддерживать в себе бодрость. Никто прилежнее меня не занимался физическими упражнениями, бегом (и даже без дыхания!). Поэтому я выглядел моложе Галактиона и Песцова, но все равно я появился перед Эрой глубоким старцем.

Она неловко стояла на прилипших к полу магнитных подошвах. Увидев статного, как она потом призналась, старика с длинной седой бородой, она в первый момент не могла поверить, что это я. Но потом поняла все, подготовленная к жестокой правде умными словами Неона.

Она бросилась ко мне, прильнув к моей груди, едва доставая мне до подбородка, пряча лицо в моей густой бороде.

Я гладил ее плечи.

— Мы будем вместе, — говорю я. — Считаю меня своим отцом в этом мире.

— Ну нет! — восклицает она и поднимает ко мне свое лицо, покрытое первыми в новом мире слезами. — Нет, Инко! Если ты сам в сердце не изменился, ожидая меня, я уж, во всяком случае, не изменилась.

— Лучше бы я умер, — шепчу я.

— Как ты можешь так говорить? Ведь тогда бы мы не были вместе сейчас!

— Но между нами полвека.

— Разве это пропасть тысячелетий? Мы вместе перешагнули через них и, пока живы, будем вместе.

— Вместе! Наконец-то вместе! — шепчу я, вглядываясь во влажные глаза моей воскресшей подружки.

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

Поземка только начиналась. Белая пустыня, недавно разделенная золотистой дорожкой, протянутой к багровому солнцу, теперь вспенилась и кипящим морем ринулась на вездеход.

Но машина уверенно продолжала свой путь по накатанной дороге к «Базе переливания крови», как назывался кочующий по Антарктиде лагерь запуска ледяных ракет.

Вскоре пенный поток скрыл колею. Белые языки взмывали к тучам, холодным пламенем охватывая вездеход. И он уже будто плыл по белому бурному морю, уровень которого злое еще повышался, наполовину затопив летящим снегом кабину.

Пока пурга разыгрывалась, оба пассажира любовались непривычной стихией. Ведь каждая крупинка здесь была застывшей водой, столь редкой на Марсе.

Скоро в окна уже ничего не стало видно. Вездеход словно опустился на дно бушующего потока. Дикий свист и вой проникали даже сквозь обшивку кузова и леденили кровь.

Но экипаж машины был спокоен. Локаторы позволяли впопыхах двигаться и полярной ночью, и в лютую пургу.

Могучий старец, улыбаясь, смотрел в заснеженные окна. Он бывал здесь не раз. Его молодая спутница невольно прижалась к его плечу. Иногда они обменивались молчаливыми взглядами.

Они все еще не могли наглядеться друг на друга. Со стороны можно было подумать, что это любящие дед и внука. Но это были муж и жена, соединившиеся в самую страшную бурю на Земле и теперь трагически разделенные по возрасту полувеком.

Старец все внимательнее всматривался в знакомые и, казалось бы, на глазах меняющиеся черты любимого лица. Он старался думать, что счастлив, что скоро они вместе с Эрой полетят на Марс, а сейчас увидят, как взлетают в космос исполинские ледяные глыбы, уносясь на их родную планету, как уже повелось из-за дня в день на протяжении пятидесяти лет.

Теория вероятностей, имея дело с большими числами, не может исключить единичных отступлений, аварийных случаев, когда запущенный в космос многомиллионный по счету айсберг из-за отказа двигателей вдруг обрушится обратно на Антарктиду или в океан. За все пятьдесят лет выполнения «галактического» плана Петрова было отмечено только два таких случая.

И вот по стечению обстоятельств третий случай приключился именно тогда, когда вездеход с двумя бесценными для человечества гостями Земли двигался по остаткам ледяного панциря Антарктиды.

Если бы ледяной снаряд размером в многоэтажную башню, как и все остальные, долетел до Марса, то при падении образовал бы там кратер, разбросав сверкающие осколки.

Этого не произошло, и ледяная глыба обрушилась рядом с вездеходом, ударив раздробленным хвостом по кабине.

Механик-водитель и штурман были убиты на месте. Оба пассажира лежали без сознания, обливаясь кровью.

Первой, спустя немалое время, пришла в себя Эра. Она увидела перед собой по-былому рыжую, а не белую бороду Инко, и не поверила глазам. Не мог же он вдруг помолодеть?

Но он не помолодел: его борода была окровавлена.

Эра заставила себя пошевелиться. Оказывается, хоть и оглушенная, она может двигаться.

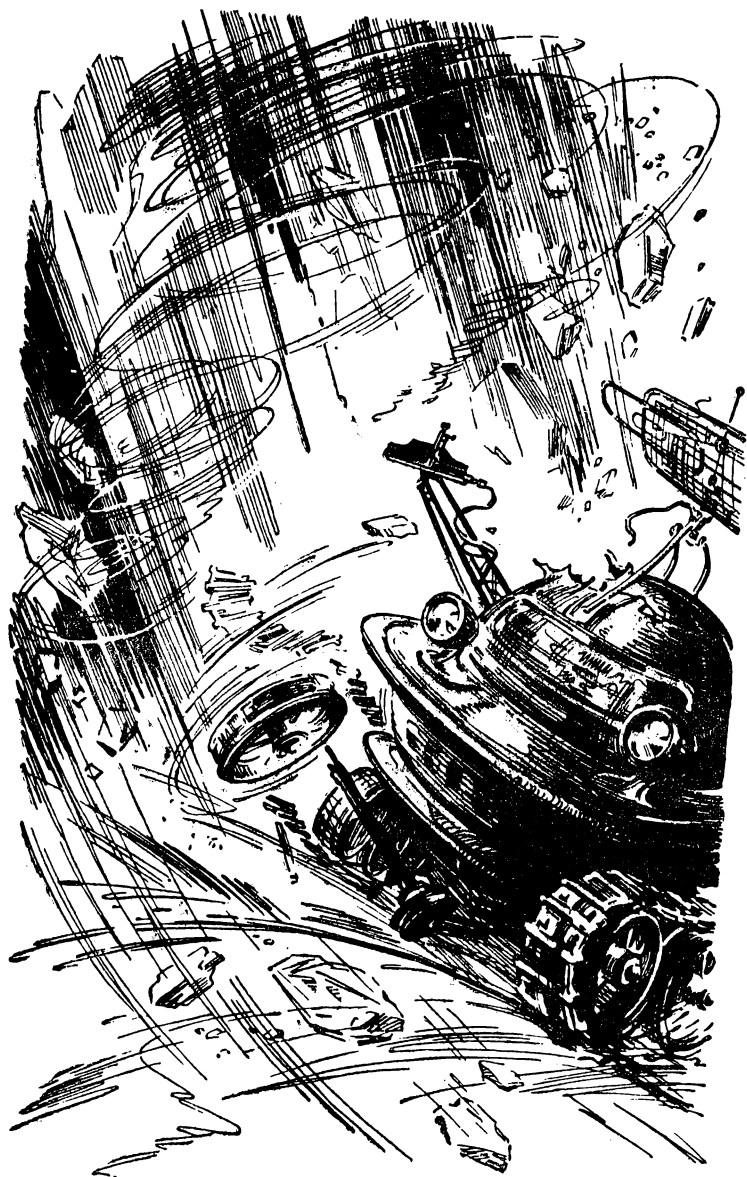
С ужасом увидела она смятую кабину управления, два изуродованных трупа в ней и зарыдала.

Но тотчас взяла себя в руки. Она была когда-то врачом и умела повиноваться долгу. Людям уже не помочь, но умирающий Инко лежал рядом.

Эра расстегнула на нем одежду, обнажила зияющую рану на шее, нашла в аптечке бинты и умело остановила кровотечение. Страшно было подумать, сколько крови он уже потерял! Лицо его стало землистым, губы ссохлись, грудь судорожно вздымалась.

Как же дать людям знать о несчастье?

Эра с трудом открыла внутреннюю дверь в кабину управления: незнакомая аппаратура, ни конусов, ни сфер, ничего при-



вычного по «Поиску» или глубинным городам. Где же тут приборы электромагнитной связи? Работают ли они?

И Эра в отчаянии стала наугад крутить маленькие цилиндрики ручек. При этом она рассказывала о том ужасе, который произошел. И вдруг догадалась, что все напрасно. Если ее даже и услышат, то ни слова не поймут.

Она стала говорить на языке людей Толлы, на языке инков, даже древних шумеров. И наконец зарыдала, по-женски, горько и безутешно. Всхлипывая, она повторяла уже только марсианские слова.

Но сколько она ни крутила незнакомые ручки, в кабине не раздалось ни звука. Очевидно, никто не услышал одинокого призыва о помощи. И никто не найдет исковерканного вездехода с умирающим марсианином Инко и его беспомощной подругой.

И тогда марсианка, подчиняясь скорее отчаянию, чем здравому расчету, решила двигаться к Базе, таща за собой бесчувственного мужа.

Она смастерила из обломков вездехода подобие саней, никогда в жизни их не видя, использовала полозья, высвободив их из-под вездехода. На эти полозья она положила Инко, закутав его всем, что только могла найти в вездеходе. Потом впряглась в самодельные лямки и потащила сани навстречу морозному ветру.

Колючий снег бил в лицо, слепил глаза. Впрочем, увидеть что-либо и так было невозможно.

Эра стремилась не сбиться с колеи, по которой тянула полозья. Навстречу летело холодное, обжигающее пламя, состоящее из крупинок застывшей влаги. И даже слезы на глазах превращались в льдинки, ресницы смерзлись. Дышать становилось все труднее.

Как сурова, оказывается, прекрасная Земля!

Эра, закусив омертвевшие губы, иступленно двигалась вперед. Вдруг снег разом перестал бить в лицо. Мутная пелена исчезла, словно сдернутый полог. В том месте, где перед бурей виднелось багровое солнце, теперь по небу в нежных красках разливалась оранжевая заря. Морозный воздух оставался и как будто звенел — полярная метель кончилась.

Эра, к своему ужасу, убедилась, что потеряла накатанную колею, и уже не знала, куда шла. Она остановилась, чтобы дышаньем согреть Инко.

Потом снова двинулась, падала в изнеможении, но опять поднималась, чтобы идти неизвестно куда.

Заря в небе сменилась россыпью звезд. И тогда Эра увидела прикрывающие их цветные занавеси, свисающие переливающимися нежной радугой складками. Она никогда не поверила бы, что земное небо может быть настолько красивее космического! Но сейчас никакая красота природы не существовала для нее.

Потом занавеси растаяли, и стало светло, как при новой заре. Из-за горизонта в небо упирались лучи. Это могли быть прожекторы, как называют люди сильные светильники направленного действия.

Так вот где лагерь ледяных ракет!

Эра обернулась к саням, где лежал Инко, и в изумлении за-

стыла. Точно такие же лучи вставали из-за противоположной стороны горизонта, соединяясь на небесном куполе исполинским шатром.

Эра поворачивалась то в одну, то в другую сторону в полной растерянности. В изнеможении она упала в снег около самоходных саней. Сейчас холодный сон снова охватит и ее и Инко... Ну и пусть. Они уже засыпали так один раз, и тогда это было совсем не страшно...

Даль Александрович Петров скромно отметил свое семидесятипятилетие. Академия и университеты мира не оказывали ему тех почестей, которые десять лет назад были оказаны в такой же день его брату, Галактиону Александровичу Петрову, академику и лауреату научных премий мира, признанному автору Великого Плана «космического переливания крови». Младший его брат Даль так и остался рядовым инженером и всю свою жизнь запускал по этому плану ледяные ракеты в космос. И никто, кроме его старшего брата, не знал, что полвека назад, еще на Марсе, Далька, как тогда его называли, предложил Галактиону перебросить на Марс излишки льда с Земли. Но мог ли этот «галактический замысел», выдвинутый недоучкой, тогда еще даже не закончившим института, вызвать к себе серьезный интерес? Другое дело, если с подобным планом выступит солидный член-корреспондент Академии наук, уже заслуженный в ту пору профессор Галактион Александрович Петров. И тогда на далеком Марсе, в заброшенной сталактитовой пещере почти вымершего глубинного Города Долга братья договорились между собой. Ради достижения такой великой цели, как выход марсиан на поверхность, пригодную для жизни, авторство плана преобразования Марса вначале официально будет принадлежать Петрову-старшему.

Но с годами Галактион Александрович так свыкся со своей ролью спасителя марсиан, что даже не вспоминал о том давнем разговоре с братом. Даль десятилетия «тянул лямку», исправно запускал ледяные ракеты, решая незаметные, но важные технические задачи, до которых не снисходил важный академик Петров. Никогда Даль не напоминал брату об их договоренности, по которой Галактион обязывался в свое время огласить имя истинного автора плана. Сейчас же, когда Петрову-старшему перевалило за восемьдесят пять лет и он был перегружен и летами, и заслугами, напоминать ему об этом Даль просто не мог.

Да это ему было и не нужно. Со времени потери любимой жены Тани, ставшей видным ученым (она открыла стоянку доисторического человека на побережье Антарктиды благодаря снятому там Далем ледяному панцирю), Даль стал равнодушно относиться к себе. Он гордился сыном, прославленным профессором, внуком, талантливым биологом. И он был счастлив от того, что занят «переливанием крови», что отправляет день за днем ледяные снаряды в космос, которые, пролетая по заданной трассе сотни миллионов километров, упадут на Марс ледяными метеоритами, заполняя водой вновь рожденные моря.

Был только один человек, если его можно назвать человеком,

который подозревал истину и всей душой сочувствовал Далю. Это был марсианин Инко Тихий, все свои пятьдесят с лишним лет жизни на Земле отдавший обмену достижениями культуры Земли и Марса.

Теперь Даль стал сухоньким подвижным старичком с желтоватой сединой, обветренным лицом и беспокойными карими, живыми глазами. Неумный его нрав знали все, кто с ним работал. Он никому не давал покоя, обо всем заботился, во все вникал, не ходил, а бегал, не отдыхал, а переключался на другую работу, не спал, а дремал, чтобы вскочить при первой необходимости.

Величайшим наслаждением для него было видеть, как у ледяного порога (лед с материка снимался слоями) подъемный кран несчетный раз спускал на ажурной стреле металлическую форму будущего ледяного снаряда. Электрический ток нагревал ее и протаивал щель между будущим снарядом и монолитом льда. В нижнюю часть вырезанной так ледяной ракеты тем временем устанавливали реактивный двигатель и баки с горючим. По мысли Даля, все это делалось из льда, лишь дюзы покрывались тугоплавким веществом. Предусмотренные Далем огромные ускорения разгона позволяли достигнуть нужной космической скорости так быстро, что ни ледяные дюзы, ни примыкающие к ним части корабля не успевали оплавиться, не считая внешней оболочки снаряда, соприкасавшейся с воздухом. И оплавленные лишь снаружи корабли летели в холодном космосе по расчетной трассе, автоматически корректируемые в пути.

Даль так и не отвык по-детски радоваться, когда от ледяной стены, стелясь по снегу, к нему рвалось темное облако газов. Вспыхивало пламя и, превратившись в огненный столб, поднимало ледяную башню. словно в раздумье постояв несколько мгновений на месте, она скрывалась в небе, оставляя после себя струи дыма и пара.

Взрыв ледяного снаряда в воздухе (до выхода его в космос) Даль увидел своими глазами и рассердился пока неизвестно на кого. Никакой тревоги он не почувствовал, отлично зная, что вероятность несчастья с ожидавшимися гостями от падения строптивого снаряда исчезающе мала. К домику на салазках он пошел, чтобы устроить разгром своим помощникам, ознакомиться со всеми контрольными замерами взорвавшегося двигателя и записью его работы. В этом же домике была приготовлена гостям комната, которую Даль уступил им, перебравшись в свою рабочую конурку рядом с радиорубкой.

Испуганный радист, не накинув даже шубы, выскочил на мороз навстречу Далю Александровичу.

— Она плачет! — вместе с облачком пара выдохнул он.

Даль бросился в радиорубку и стал слушать никому, кроме него одного, не понятные слова.

Потом Даль действовал с присущей ему быстротой и решительностью. Разгромив своих помощников, отдавая краткие и точные распоряжения, он снарядил спасательный отряд вездеходов.

— Эра пешком пойдет. Можно догадаться. Нас-то не слышит, — озабоченно твердил он.

Отряд вездеходов с радиолокаторами, способными обнаружить любой предмет среди снегов, помчался навстречу не дошедшему до цели вездеходу с марсианами.

Придя в себя, Эра увидела склонившегося над собой старичка с бело-желтыми волосами и живыми темными глазами. Он заговорил с нею на языке древних мариан.

— Даль? — отозвалась слабым голосом Эра. Ведь это мог быть только он! — Здравствуй. Где Инко?

— Он рядом с тобой, но...

— Он плох? Говори прямо. Я врач. Переливание крови?

— Так считают наши врачи, но...

— Кровь мариан отличается от крови людей? Знаю. Так не теряйте времени. Берите мою.

— Подойдет ли она Инко? Мы еще не установили.

— В горький день нашей прежней жизни красавица дикарка отравила меня соком гуямачи. Из ревности, о которой я тогда впервые услышала на Земле. Инко дал мне в тот день свою кровь. Она и сейчас течет в моих жилах, и я отдам ее ему обратно.

— Мы на это рассчитывали. Для операции все готово. Видно, не напрасно наш лагерь называется «Базой переливания крови».

Инко Тихий, оправившийся от ран, сидел у постели Эры и вглядывался в ее лицо. Она спала, словно в саркофаге биованны. Но лицо ее было иным, чем в «Хранилище Жизни». Инко старался утешить себя — ведь потрясения не могли пройти бесследно.

Эра открыла глаза, увидела Инко и улыбнулась. Улыбка сразу омолодила ее.

Инко облегченно вздохнул. Конечно, ему это только показалось! Ведь не замечает же ничего Даль. Напротив, он даже сказал, что вид Эры возвращает ему молодость.

МОРЕ СМЕРТИ

Космический корабль, в котором летим мы с Эрой, МАР-ЗЕМ-119 («Марс-Земля, сто девятнадцатый») идет на посадку, и нет сил сдержатъ сердцебиение, которое овладевает мной всякий раз при посещении родной планеты. Что же ощущает тогда Эра, сидящая рядом?

В иллюминаторах мелькают огненные полосы — знак торжества в новой марсианской атмосфере. Внизу беспредельным океаном расстилается зеленая равнина с голубыми кружками озер, в которых на миг отражается наше маленькое Солнце, и тогда они вспыхивают рассыпанными внизу зеркальцами.

— Горы! Наши горы! — взволнованно узнает Эра.

— Да, родная, знакомые места, — отзываюсь я и с улыбкой добавляю: — А пустыни больше нет.

После посадки видно, что привезенные с Земли деревья и



кустарники всюду привились в углекислой атмосфере и благодаря ей и половинной тяжести вымахали вдвое по сравнению с земными сородичами.

— Какие исполины! — любитесь ими Эра.

Я помогаю ей надеть маску и заплечные баллоны, как аквалангистке.

Земные космонавты радужно провожают нас до шлюза корабля.

Итак, мы дома! Но...

Мы идем друг за другом по пояс в траве. Озеро вблизи зеленоватое, местами прикрытое туманом. Оно выглядит как зацветший пруд. благодаря водорослям хлореллы, которые вместе с новыми лесами и травами трудятся сейчас по всей планете, насыщая ее атмосферу живительным кислородом.

Так хотелось бы снять маски, вдохнуть его, но пока еще рано!..

— Здесь был кратер войны распада баз Деймо и Фобо, — напоминаю я.

— Значит, перед нами скала шлюзов Города Долга, — догадывается Эра. — У меня кружится голова. Не пугайся. Не только кружится, но и полна света и радости. Мы возвращаемся в родной дом, а он перенесся на планету щедрую и цветущую, о которой мы мечтали! — И она счастливо смеется.

Ее смех вспугивает стайку птиц, первых обитателей преображенной планеты, не боящихся излишков углекислоты. Они вспорхнули и со звенящим шелестом полетели над приозерной дымкой тумана.

Нам обоим хочется сесть

и смотреть в озеро, на отражение близких березок, полюбившихся нам еще на Земле.

Но извилистая тропка зовет нас дальше.

Темный утес, к которому мы идем, отражается в воде и выглядит подводным. Над ним небо, уже не марсианское фиолетовое, а синее, земное!

За шлюзами нас приветливо встречают обитатели древнего Мара. Далекие потомки наших собратьев. Они кажутся Эре робкими, застенчивыми, болезненными. Это, конечно, после привычного облика бодрых, сильных, энергичных людей Земли.

Итак, мы в родном Городе Долга!

Здесь те же сумрачные галереи, угрюмые пещеры, и вместе с тем как все переменялось!

Уже после нашего ухода в холодный сон глубоко в недрах планеты обнаружили глобальные запасы аммиака, прежде насыщавшего атмосферу первозданного Марса, который в этом отношении был похож на остальные планеты солнечной системы. В небольших количествах аммиак встречался в недрах и прежде. Еще наши далекие предки, последние фазы, получали из него азот для своих первых глубинных городов.

Однако Море Смерти, заполняющее собой все поры планеты, плотность которой, как известно, меньше земной, собрало в себя все запасы аммиака, составлявшего прежде атмосферу. Оказавшись в силу какого-то катаклизма под поверхностью, аммиак уже не способствовал созданию азотной атмосферы, как на Земле или на Фаэне.

Когда люди взялись за преображение Марса, они заручились содружеством марсиан. Те должны были превратить весь аммиак глубин в азот и водород, создав искусственные вулканы, в жерлах которых аммиак распадался бы. Тогда содержание углекислоты, частично поглощаемой растительностью, станет в океане азота приемлемым для дышащих организмов.

Нас с Эрой представили Первой Матери Роне, спустя несчетные поколения занявшей место моей матери Моны.

Это была необычно высокая для подземелий марсианка, седая, стройная, с точеными чертами лица и строгими, пронизывающими глазами.

— Так вот какова ты, проснувшаяся от холодного сна! — приветливо сказала она, разглядывая Эру. — Будь с нами. Мы рады тебе.

Эра призналась, что хочет увидеть Море Смерти. Марсианка удивилась:

— Зачем тебе это надо, дочь моя, которая могла бы быть моей праматерью?

— Я видела, как люди шлют к нам живительные снаряды жизни с ледяного материка Земли. Я хочу видеть, как мариане (она выговорила мариане, как в древности) вносят свою долю.

— Ты — наша легендарная героиня. О тебе сложены сказки, и дети бредят тобой, восставшей от сна. Я не могу тебе отказать, хотя испарения Моря Смерти ядовиты и придется надевать специальный скафандр.



— Мы привыкли к скафандрам, — бодро отозвалась Эра.

И вот мы спускаемся по бесконечным переходам, пройдя мимо знакомых, тысячелетия назад заброшенных пещер.

— Я вижу в тебе, проснувшейся красавице, символ нашей расы, — говорит Первая Мать Рона. — Раса мариан словно спала несчетные циклы в глубинах планеты. Но скоро она проснется, как проснулась ты.

Я радуюсь, слушая эти слова. Почтительно иду сзади и размышляю. Все-таки не символично ли то, что марсиане насыщают атмосферу Марса нейтральным газом азотом, а люди водой и живительным кислородом?

Проводники! холодными факелами освещают нам путь.

В прежнюю свою жизнь я не знал, что марсиане могут так глубоко спускаться в недра планеты. Но за миллионы лет существования несчетные поколения все глубже и глубже вгрызались в тело Марса. Вот тогда и был открыт глубинный аммиачный океан, получивший название Моря Смерти, ибо никто в то время не мог подумать о превращении его в Поток Жизни.

Я слышу, как беседуют между собой две марсианки: древняя, но молодая, и ее праправнучка, старая и мудрая.

— Ты видела, Проснувшаяся, — Мать Рона неплохо владеет древним языком мариан, говоря с Эрой, — как с Земли посылают нам

замерзшую воду. Религия страха, к счастью, у нас забыта, но последние жрецы грозили нам, что люди хотят переделать Марс для того, чтобы на нем можно было им же самим поселиться, не выпустив нас из пещер. Что ты думаешь об этом?

— Я видела людей и сейчас, и тринадцать тысяч лет назад. Ныне на Земле живут иные люди. Они по всей планете стремятся утвердить те принципы, которые мы с Инко старались заложить в одно из их первых древних государств. Если они помогают нам, то только из добрых побуждений.

— Добро? — переспросила Мать Рона. — У нас после религии страха, ушедшей в прошлое, остались еще суеверия. Помогите вместе с Инко справиться с ними. Скажи, зачем людям творить Добро? Неужели это выгодно?

— Выгодно!

— Вот как!

Эра радуется. Она прекрасно усвоила все, что я ей рассказал:

— Если смотреть далеко вперед, можно понять, что для людей избавиться от излишней воды будет выгодно. Они отправляют ее на Марс с большого острова Гренландия и с ледового материка Антарктиды. Если бы лед Гренландии растаял, он поднял бы уровень океанов на четыре моих роста. А если бы растаял антарктический лед, океан поднялся бы в семь раз выше, затопив многие цветущие страны и города.

— Но почему замерзшая вода Земли должна таять?

— Я заглядываю в отдаленное будущее. Люди очень активны и расходуют уйму энергии. Они получают ее не только от Солнца, но и от распада вещества и, что особенно значимо, от сжигания запасов топлива миллионолетней давности. Это не только повышает на Земле уровень тепла, но и увеличивает содержание углекислоты в атмосфере. А она, как известно, пропускает солнечные лучи, но удерживает тепло почвы, как в наших былых оранжереях. И в результате люди неизбежно когда-нибудь столкнутся с перегревом Земли и катастрофическим таянием льдов. Людям все равно пришлось бы выбрасывать излишки льда, если не на Марс, то просто в космос.

— Ты мудра, Проснувшаяся. Недаром на твоём прекрасном лице я вижу морщины забот и знаний.

Я холодею. Мне все думалось, что это мне лишь кажется. Теперь же Первая Мать Рона подтверждает мои опасения.

— Мудростью этой я обязана своему Инко, только ему.

Первая Мать Рона оглядывается на меня. Я почтительно склоняю голову и говорю:

— Земляне не забыли своего долга марсианам, которые предотвратили столкновение Земли с Луной. Подлинное добро всегда обернется добром для тех, кто его делает.

— Вот как ты думаешь!

— Эра недаром говорила о предотвращении грядущего потопа на Земле.

— Она вполне может сменить меня на посту Первой Матери, когда совсем вернется к нам на Марс.

И Первая Мать дала сигнал надеть скафандры.

Нависавшие своды в каменных потоках терялись в темноте. Под ними размеренно, лениво колыхалось, наступая и отступая, Море Смерти. Испарения над ним были ядовиты. Но их не было видно, сама же жидкость казалась темной в свете холодных факелов.

Мы с Эрой уже знали, что эта мертвая влага нескончаемым потоком выбрасывается из новых вулканов, где превращается в летучий газ водород и устойчивый азот, основу будущей атмосферы Нового Марса.

Полвека день и ночь из Моря Смерти через неисчислимые жерла под огромным давлением извергались струи этих газов.

— Поток Жизни, — говорит про них Эра Матери Роне и вдруг поступает совершенно неожиданно, не как будущая приемница руководительницы марсиан. Она сбрасывает герметический шлем, ее волосы рассыпаются по плечам, и я с ужасом вижу в свете холодных факелов седые пряди.

Эра снова надевает шлем и говорит:

— Таков был обычай моей юности, Первая Мать Рона. Инко подтвердит. Не было у нас более любимого упражнения, чем ныряние в отравленную атмосферу Мара и бег в пустыне. Здесь, на берегу Моря Смерти, я хотела отдать дань этому смелому спорту, на который не решалась в молодости. Иначе как мне стать тебе помощницей?

Первая Мать Рона была настолько ошеломлена поступком Эры, что ничего не возразила ей.

Тяжел был подъем из невероятных глубин, занявший не один день. Я вдруг почувствовал весь груз лет, как я хотел бы сбросить его ради юной Эры, у которой морщины забот и знаний появились здесь, в марсианской глубине.

Встревоженный, поднимался я, по-прежнему идя следом за Эрой и Первой Матерью Роной, стараясь размеренно дышать, как во время физических упражнений.

И началась наша с Эрой жизнь среди марсиан. Нам отвели одну из каменных келий, где мы оставались одни.

— Ты знаешь, Инко, я так хотела бы дожить до мига, когда марiane смогут без скафандров выйти наружу и жить на поверхности: не в пещерах, а в домах, как на Земле.

Я понимал, слишком хорошо понимал свою Эру. Она заметила в себе то, что я лишь начал подозревать. Недаром все дольше и дольше просиживала она при свете холодного факела перед зеркалом.

Она старела у меня на глазах. Старела с непостижимой быстротой. Боюсь, что наши друзья Земли Неон и Даль и другие не узнают ее, помня прекрасное лицо спящей в саркофаге.

Конечно, она и теперь казалась прекрасной, но ее красота стала зрелой.

— Не расстраивайся, мой Инко, — говорит она с улыбкой. — Ты боялся, что вставшие между нами полвека будут барьером. Видишь, сама природа уничтожает этот барьер. Я просто приближаюсь к тебе по возрасту, чтобы быть счастливой.

Эти слова звучат для меня угрозой.

Я решаю, что жизнь в глубинном Городе с его затхлой искусственной атмосферой губительна для Эры. Надо тотчас увести ее назад на Землю.

Первая Мать Рона, выслушав мои опасения, соглашается.

— Я хотела, чтобы она сменила меня, — говорит она, и в ее словах я угадываю странный для меня смысл.

Одновременно это звучит и разрешением увести ее.

Я даю радиogramму на Землю Далю и получаю ответ: корабль МАРЗЕМ-119 вылетает за нами.

В назначенный день мы видим через перископ, как опускается на зеленую равнину серебристая башня корабля.

Первая Мать Рона с печальной улыбкой провожает нас:

— Боюсь, что двойная тяжесть скорее повредит, чем поможет Эре, — на прощание говорит она тихо, только мне.

Эра держится бодро. Обнимает Рону, прощается с дежурными шлюзовыми марсианами, и мы вместе с нею в легких земных «аквалангах» выходим из шлюзов на берег знакомого озера. До корабля отсюда не так далеко.

Эра оглядывается вокруг, словно впитывая в себя красоту нового, рожденного здесь мира, и замечает в небе темную тучу, вдруг скрывшую солнце. Стаи белых птиц мечутся перед нею, как подхваченные вихрем хлопья.

И сразу же мутные космы дождя преграждают нам путь. Еще мгновение, и они бьют нас по лицу, стекают струями по плечам и одежде: мою бороду хоть выжимай.

Дождь на Марсе! То, что на Земле казалось бы угрюмым, непогожим, здесь вселяет веселье.

Эра, очевидно, поддается этому настроению. Она прыгает под дождем, потом бежит к кораблю.

Но что это? В приступе восторга или безумия Эра срывает с себя маску, забыв, что она не на Земле! И она бежит к кораблю от того же самого, теперь залитого водой кратера, от которого полвека назад бежал я без скафандра по песчаной пустыне.

Я никогда не переставал бегать, несмотря на свой возраст. Напрягая все силы, гонюсь за нею, но отстаю, задыхаюсь, и тревога сжимает мое колотящееся сердце.

Она не может долго бежать без дыхания, как я когда-то. И по мокрой траве бежать труднее, чем по песку.

И я вижу, как Эра падает сломленной тростинкой.

Задыхаясь, изнемогая от усталости, со слезами, смешанными со струями дождя на лице, я добегаю до нее.

Она лежит в изумрудной влажной траве. Наше маленькое, но яркое солнце снова выглянуло из-за туч и заставило сверкать капельки влаги на ее полуседых волосах. По ее осунувшемуся, застывшему лицу текут не дождевые струи, а слезы!..

С трудом став на колени, одеваю на нее маску и приступаю к искусственному дыханию.

Зачем она так сделала? Зачем?

Кто поймет женщину или марсианку до конца?

Космонавты в скафандрах подбегают к нам, и мы втроем несем ее к кораблю.

И, несмотря на половинный земной вес, она кажется тяжелой.

Только в корабле Эра приходит в себя, оглядывается, плачет и говорит:

— Инко, родной мой Инко! Как хорошо!

Эти слова становятся сигналом к старту.

Состояние невесомости приносит ей облегчение. Но ничто не может омолодить ее усталое, увядшее за время пребывания на Марсе лицо.

Я надеюсь только на Землю, на нашу вторую родину.

ПОСЛЕДНИЙ СОН

Земля встретила нас дождем. Но что это был за дождь по сравнению с недавним марсианским дождиком!

К люку космического корабля подвели телескопический стеклянный коридор, чтобы мы могли посуху пройти в здание космического вокзала.

Мы идем с встретившим нас Далем. Я слушаю его печальное повествование о смерти старшего брата Галактиона и смотрю сквозь стекло на бушующую стихию.

Академик Галактион Александрович Петров, если не в расцвете сил, то в ярком свете славы, накануне нашего прилета тихо скончался на восемьдесят седьмом году жизни.

Ветер налетает порывами и стучит водными струями в стекло так, что кажется, сейчас их вышибет. Потоки воды бьют толчками, стекая полупрозрачной пеленой.

Только в противоположное окно можно рассмотреть, что делается на космодроме.

Не только деревья, но и травы гнутся под дождем-косохлестом. На бетонных дорожках вода пузырится, словно кипит на раскаленной сковородке. Люди в блестящих плащах с капюшонами, сгибаясь, идут против ветра или, повернувшись к нему спиной, пытаются к цели.

Дубки, которые я заметил еще до отлета, цепко держащие листву и поздней осенью, сейчас под злым натиском дождя тянут по ветру мокрые, темные, скрюченные и голые ветви.

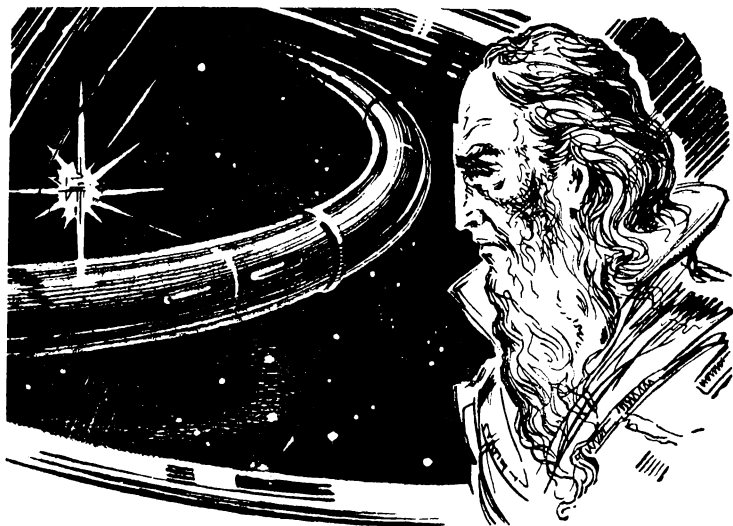
Умер Галактион, снискавший славу «спасителя марсиан». Он руководил группой ученых, нашедших в космосе «Хранилище Жизни». Но пробудил меня к жизни его брат Даль.

Не таков был человек Галактион, чтобы ради марсиан посвятить свою жизнь преобразению Марса.

Это скромно и самоотверженно делал Даль. И задолго до ознакомления с письмом-завещанием, которое оставил перед смертью брат Галактион, я подозревал, что не он подлинный автор замысла преобразования Марса.

Так оно и оказалось. Академик Петров пожелал, чтобы после его смерти должное воздали и его младшему брату, предложившему создать искусственную атмосферу Марса. Галактион Александрович, уйдя из жизни, хотел показать свое истинное благородство, разделив славу с братом.

Но не таков был Даль Петров, чтобы этим воспользоваться. Он никому, кроме меня (да и то много времени спустя), не показал письма-завещания. Но я подозревал истину, когда вместе с Эрой стоял среди толпы учеников и соратников покойно-



го в мрачном зале крематория, напоминавшего нам тесный храм древних инков, хотя он стоял не на вершине уступчатой пирамиды, а среди могил, окруженных старинной крепостной стеной.

По последней воле академика его прах не предадут земле, а должны развеять по ветру в поле.

Перед небольшой оградой, отделявшей гроб, стоят близкие и почитатели умершего. Один за другим подходят к его изголовью почтенные люди и говорят о заслугах ушедшего академика перед наукой.

Сделать это предстоит и мне, представителю иной планеты. Не скрою, мне тяжело выразить признательность марсиан только одному академику Галактиону Петрову. И, стоя у его изголовья, я передаю сердечную благодарность Марса всем людям.

Несмотря на столь печальные обстоятельства нашего возвращения на Землю, Эра вначале как будто ожила.

Повышенная тяжесть не угнетает ее, поскольку все время полета от Марса до Земли мы с нею провели в нагрудных костюмах из эластичной материи. Ее натяжение постоянно заменяло земное притяжение, мускулы всегда находились в работе, поэтому мы прибыли на Землю вполне подготовленными к земной тяжести.

Однако скоро состояние Эры стало внушать мне еще большую тревогу, чем на Марсе. Мои опасения разделяет и профессор Неон Петров и в особенности его сын Иван.

Они настаивают на переселении нас с Эрой в космический институт анабиоза, подозревая, что на Эре сказываются последствия неудачных попыток ее пробуждения.

Изменения в Эре происходили не только внешние, но и внутренние. Ею овладело равнодушие ко всему, кроме собственного состояния. Я все чаще заставлял ее молча смотрящейся в зеркало.

Даль снова уехал в Антарктиду заканчивать переправку на Марс остатков ледяного покрова. Неон и Иван постоянно приходят к нам.

Зима никак не устанавливается. На улице слякоть. Снег если и выпадает, то тотчас тает. Уныние овладевает мной. Очень вовремя приехали супруги Песцовы: академик Леонид Сергеевич и Эльга Сергеевна. Он, бодрый, огромный, шумный, все шутил, подбадривая меня. Мы даже сыграли с ним в шахматы, в эту мудрую игру землян, которую я успел передать в глубинном Городе Долга марсианам.

— «Бухли стволы, наливались соком», — приятным, сохранившимся в его годы басом напевал он и, смеясь, добавлял: — Слова и музыка «машинные». — Потом продолжал: — «В воздухе пахло промокшей корою». Вам шах, божественный Контики! Чуете, что промокло? Не кора, а ваша позиция! Электронная машина сдалась бы на вашем месте. Не хотите? Ну тогда... тогда... Гм... Что это он тут надумал? «В воздухе пахло промокшей корою...» Бррр! «Где-то весна брела стороною». А ведь есть ответ, бог Кетсалькоатль! Так неужели древние инки не знали шахмат? Какое упущение! Потому их и разорили разбойники-испанцы. Должно быть, у них уже была испанская партия. Предлагаю ничью. Я же не конкистадор. Не хотите? Ну, значит, вы все-таки бог Кетсалькоатль! Такое выдумать на доске!.. Сдаюсь. Браво, Инко! Объявляю тебя чемпионом Марса.

Пока мы занимались с академиком Песцовым шахматами, Эльга Сергеевна и Эра уединились и секретничали. Когда они вернулись, у них был вид заговорщиц.

Я невольно сравниваю девичью фигурку и головку Эры с досадно расплывшей женой академика, почти как он сам, с одутловатым лицом и белоснежными волосами.

К сожалению, и у моей Эры волосы становятся серебряными, а лицо осунулось, глаза ввалились, как после тяжелой болезни.

Мне больно слышать, как Эра объясняет гостям, что платится сейчас за свое безрассудство на берегу Моря Смерти. Я-то от Неона и Ивана знаю, что все это не так. Недуг Эры — не болезнь, а ускоренное старение, вызванное необратимыми процессами, произошедшими в организме после первых неудачных попыток ее пробуждения!

На следующий день я еду к Неону договориться о лечении Эры в космосе, может быть, невесомостью.

Решив увезти ее в космос, я возвращаюсь пешком со станции электрической дороги на нашу квартиру — небольшой домик, окруженный подмосковным лесом.

Снег все-таки выпал и заставил ветки елей пригнуться к самой земле, укрытой свежими сугробами.

Слепит зимнее солнце, отражаясь в стеклах нашей веранды. Дверь в нее открыта, словно Эра не может дожидаться меня. В ее состоянии это неосторожно, нужно остерегаться простуды!

Выделяясь на фоне затемненной комнаты, в дверях стоит темноволосая, прекрасная, счастливо смеющаяся юная Эра!

Я бросаюсь к ней с протянутыми руками, не веря чуду, которое вижу. Но она отскакивает в глубь комнаты, кокетливо останавливая меня грозющим пальцем.

Занавеси на окнах прикрыты.

Вне себя от счастья, еще полный солнца, которое слепило в лесу, я отдернул занавеску, чтобы развезать полумрак, оглянулся на Эру и вижу ее испуганное лицо.

Сердце сжимается у меня. Я знаю, что люди умеют делать это! Очевидно, не зря секретничали Эльга Сергеевна и Эра! Только сама Эльга Сергеевна оставляла свои волосы седыми, а Эра...

Волосы ее кажутся даже темнее, чем были когда-то. Они волнами ниспадают ей на плечи. Удлиненные глаза с темными ресницами немного грустны, а губы, даже не красные, как бывало, а почему-то сиреневые, пытаются улыбнуться.

Да, лицо ее все еще прекрасно! Даже и сейчас, когда умело подчеркнутая художником (каким она всегда была, учась еще у моей матери, ваятельницы Моны) с помощью современной косметики каждая черта ее говорит о возвращенной юности. Но ее обнаженная, когда-то великолепная шея сейчас выдает ее. Предательские морщины сводят на нет все ухищрения гримера...

— Ты не рад? — робко спрашивает Эра и начинает плакать, плечи ее вздрагивают, она отворачивается.

Я не хочу ее огорчать, прижимаю к себе, целую пахнущие чем-то, ей не присущим, волосы и стараюсь сам не дать волю слезам.

Когда мы сидим с ней вдвоем и обедаем, слушая чудесную земную музыку, которую оба полюбили, я рассказываю ей о предложении Неона и Ивана, готовых лететь вместе с нами.

Она пронизательно смотрит на меня.

— Ты думаешь, Инко, им удастся что-нибудь сделать с этим отравлением на берегу Моря Смерти?

Я говорю, что они надеются помочь ей.

Потом мы остаемся с нею в сумерках, не зажигая огня. Я весь отдаюсь минутному обману. Со мной сидит моя прежняя юная и прекрасная Эра.

Сидит в последний раз.

Наутро она выходит из своей комнаты веселая, бодрая, но снова седая, с морщинками в уголках глаз.

Опять в ней произошла перемена. Отказавшись от самообмана, она вдруг стала прежней Эрой, живо интересуюсь всем, что происходит в мире. Она напоминает мне былую Эру, ждавшую меня в затопленном в Персидском заливе корабле, к которому я пробирался под водой в скафандре каждый вечер после общения с шумерами в непостижимо далекой и неправдоподобной прежней нашей жизни. Сама она тогда по нашему уговору не встречалась с людьми, но знала о них все и руководила моими действиями.

И вот сейчас, когда в ней снова проснулся интерес ко всему земному, она, как мне кажется, помолодела больше, чем от белил и румян.

Разочарование ждало нас в космосе. Эре ничего не могло помочь, даже невесомость. Часы ее жизни шли, словно пущенные со скоростью, во сто раз большей, чем у всех людей.

Не прошло и года со дня ее пробуждения, как от нее осталась лишь тень прежней Эры — сморщенная старушка...

Не знаю, ради себя или ради меня, но она вдруг стала говорить, что можно вернуть былую молодость.

Мы живем с нею в отведенной нам каюте, в ободке тихо вращающегося огромного космического колеса, создающего центробежной силой искусственную земную тяжесть. Ради Эры эту силу не раз меняли, затормаживая или разгоняя колесо, чтобы изучить, как влияет тяготение на ее организм.

Но причину ее старения профессор Неон Петров определил, увы, верно. Не в тяжести было дело, а в самой Эре.

Два старых человека (я осмеливаюсь так называть нас обоих) сидят в своей каюте. Трудно говорить о чем-нибудь другом!

— Если меня снова погрузить в холодный сон — Неон и Иван умеют это делать, я узнала! — я снова стану, как прежде, молодой! Поверь мне!

Верит ли она сама себе?

Я делаю вид, что заинтересован проплывающими в иллюминаторе созвездиями. Одна из далеких звездочек — наш Марс. Ступим ли мы на него еще когда-нибудь?

— У людей принято выполнять их последнюю волю, — продолжает Эра. — Моя последняя воля — не позволить мне умереть от преждевременной старости, а лучше усыпить меня в анабиозе. Ты слышишь, Инко? Это моя последняя просьба к людям, к тебе...

Неон знает об этом желании бедной Эры. Он разводит руками и сам приходит к ней, чтобы пообещать выполнить ее желание.

Иван как врач, постоянно наблюдающий Эру, говорит, что надо спешить. Бедняжке осталось жить... считанные часы!

За свои жизни я видел многое: страшные человеческие жертвоприношения, глобальные катастрофы, когда погружались в океан материки, а морское побережье поднималось за облака, становясь берегом горного озера. Я переплывал на плоту через океан, встречался с морскими чудовищами и еще более страшными двуногими чудищами на островах, я летал через бездну космоса, возвращаясь к людям снова и снова, я прошел тысячелетия холодного сна, но никогда я не испытывал такого потрясения, как в эти горькие минуты, когда бедняжку Эру, вернее то, что от нее осталось, подняли в лифте в центральный отсек орбитальной станции.

Носилок уже не требовалось. Невесомая Эра безвольно плыла рядом со мной. А я мрачно вышагивал по металлическому коридору, прилипая магнитными подошвами к полу.

За нами шли профессор Неон Петров и доктор Иван.

Процессия могла бы выглядеть похоронной, если бы Эра не была еще жива.

Вот и прозрачная перегородка с висящими за нею двумя саркофагами. Да, двумя! Я ведь пообещал Эре занять место рядом с нею.

Эра так слаба, что едва приоткрывает веки. Она видит два висящих в знакомом ей «Хранилище Жизни» саркофага, и губы ее слабо растягиваются в улыбку.

Я нагибаюсь к ней. Она что-то хочет сказать мне:

— Мы проснемся... еще через тысячи лет... Ты тоже станешь... таким же молодым... как я...

В этом она права! Мы проснулись бы ровесниками. Но, увы, дряхлыми ровесниками.

Больше всего мы боимся не успеть уложить Эру живой на ее ложе. Впрочем, это уже не имеет значения.

И действительно, ее улыбка была уходом в последний сон.

Профессор Неон и доктор Иван убедились, что пульса у Эры уже нет, переглянулись, посмотрели на меня.

Я отрицательно качаю головой.

— Ничего не меняется, — через силу произношу я. — В свое время и я займу место рядом с ней.

Больше мы не произносим ни слова.

Медленно, один за другим, заходим мы в прозрачную камеру. Укладываем Эру в предназначенный для нее саркофаг.

Включать систему анабиоза уже не нужно.

Долго смотрю я через прозрачную крышку на дорогие мне черты, пытаюсь увидеть их на изменившемся лице покойной.

Неон дотрагивается до моей руки.

Надо идти.

Никто не произносит пышных речей, как в крематории при похоронах академика Петрова. Скромная Эра, просвещавшая людей Толлы, инков и шумеров, нашедшая друзей среди людей современности, уходит из мира при полном молчании. И в этом молчании особая торжественность, особая значимость!

Мне не передать, что чувствую я в ту минуту и что испытывал до того каждый день, видя, как сгорает моя Эра...

Неон и Иван, взяв меня под руки, выводят из «Хранилища Жизни», которое уже перестало быть им, превратившись в Первый космический мавзолей, прозрачный склеп, который будет вечно двигаться меж звезд.

Прозрачная стенка «Хранилища Жизни» стала медленно отодвигаться. Эра уходила от меня навеки.

Эра уходила в серебряную чернь космоса. Я еще и еще вглядываюсь через прозрачные стенки и крышку гроба, пытаюсь навсегда запечатлеть в памяти черты любимого лица.

И вдруг мне кажется, что я вижу мою прежнюю прекрасную Эру, спокойную, задумчивую, нежную. Она словно уснула, ожидая меня, чтобы вновь проснуться через несчетные тысячелетия молодой для нового молодого поколения фаэтов, обитающих в солнечной системе.

Я не могу отделаться от этого наваждения. Да, я успел увидеть ее снова прекрасной!..

Камера настолько отошла от орбитальной станции, что разобрать что-нибудь внутри ее уже невозможно.

Перед тем как спуститься в лифте в жилые помещения с искусственной гравитацией, я еще раз смотрю на развернутый в небе звездный шарф. Одна из звезд особенно яркая. Это отошедший от нас космический мавзолей. Это последним лучом своим светит мне моя Эра.

ЭПИЛОГ (СТО ЖИЗНЕЙ)

«Что человек делает, таков он и есть».

Гегель

«Ст человека остаются только дела его».

М. Горький

В знаменательный день возвращаюсь я снова к своим запискам, чтобы завершить их этими мудрыми словами земных мыслителей.

Выйдя из «Хранилища Жизни» после холодного сна, я дал себе слово вернуться к рукописи лишь после пробуждения Эры. Она уснула последним сном — и я совсем забросил летопись нашей с ней жизни.

Но сейчас, когда мне и моему другу Далю обоим минуло по сто лет (не считая тысячелетий моего сна), мне раньше, ему позже, я снова берусь за пожелтевшую рукопись, на страницах которой оживают столь непохожие один на другой периоды моей жизни. Да полно! Периоды ли? Не вернее ли сказать **МОИ ЖИЗНИ**? Ведь я прожил едва ли не сто жизней!

Я листаю рукопись — и все они проходят чередой.

Заботой земной медицины и внука Даля академика Ивана Неоновича Петрова мы с Далем не считаемся на Земле глупыми стариками. Может быть, потому, что несколько не менее подвижны, чем четверть века назад. Нас не лечили от старости все это время, а учили избегать ее, не поддаваться ей.

Эти четверть века для Даля прошли в трудах создания новой марсианской атмосферы по плану Космического Переливания Крови, потребовавшему для своего выполнения три четверти столетия.

И все эти семьдесят пять лет я был не только марсианином или землянином, я был потомком фаэтов, исправлявшим трагическую ошибку предков.

Двадцать пять лет прошло с того горького мига, когда прозрачный мавзолей растворился в космосе, унося к звездам мою Эру. В памяти моей она сохранилась по-прежнему юной, прекрасной и немного грустной со своей кроткой улыбкой на нежном лице и задумчивым взглядом темных матовых глаз.

И вот, увы, без нее мы летим с Далем на новую, пышную и щедрую планету, которая раскроет объятия коренным своим жителям, миллион лет прятавшимся в глубинных убежищах с искусственным воздухом. Новое поколение воспользуется трудами своих отцов и братьев (с Земли!) и выйдет из недр планеты под ее новое, приветливое небо!

Я помню неуклюжего маленького жреца, служившего нелепой религии страха. Большоголовый и хилый, он олицетворял собой трусливый отказ марсиан от выхода на поверхность планеты, где уничтожены были все оазисы растений.

Растений! Старый жрец не хотел и слышать о них! Пришельцы с Земли, увидев оазисы, сразу догадаются, кто их возделывает, и захватят подземные убежища, чтобы вырывать в своей безмерной жестокости сердца мариан.

Напуганный маленький жрец, по доброте своей спасший за-
сыпанных песком землян, не желал им зла, но и не хотел, что-
бы они передали на Землю весть о существовании мариан.

Надо было видеть смятение жреца, когда он тогда слушал
страстную речь юного и неукротимого Даля:

— Что знаешь ты, добрый слепец, о растениях земного ми-
ра, взрастившего нас, людей, твоих братьев? Слушай, как го-
ворит о них мой друг Ян Пазар, земной поэт: «Сотни тысяче-
летий рос человек на лоне природы, научился добывать огонь,
делать дубины, топоры, луки и стрелы для охоты на зверей,
возделывал землю, сеял, сажал, собирал урожай, покинул пе-
щеры, переселившись, наконец, в жилища, построенные его ру-
ками (чего не знаете вы, мариане!). И всегда его окружали
цветы, травы, деревья, служа ему, защищая и возвышая его!
Он привык видеть их, обонять, ощущать на вкус, прислуши-
ваться к ним. И они предупреждали его об опасности шорохом
листьев, треском сухих сучков, а своей звучащей тишиной все-
ляли в него покой и светлую мечту». Ты не знаешь растений,
жрец, запретивший их! Они всегда миролюбивы и добры.
И нет среди них безобразных цветков, угрожающих стеблей
или враждебных стволов. Потому человек привязался к этим
дружественным существам, растущим из земли. Они давали ему
пищу, одежду, исцеляли его раны и болезни, пленяли своей
красотой и благоуханием. И не просто пленяли, а вселяли в
него бодрость, любовь к жизни и вдохновение! И никто толком
не знал, что за флюиды, биотоки или эманации излучают рас-
тения, одаривая ими человека. Цветы были воплощением кра-
соты. И человек стал украшать ими себя, свою жизнь. Цветы,
травы и деревья так сплелись с человеком, что, казалось, ста-
ли способом выражения его ощущения и чувства, его страсти
и привязанности. В древних наших письменах и легендах за
свойственные им чудеса, целительные свойства, красоту и
краски растениям приписывали божественность. И растения
становились гербами правителей и государств, символами ге-
роев и святых, эмблемами праздников и событий, выражением
любви и страсти, знаками восхищения и поклонения! Если цве-
ты и травы появлялись и исчезали на глазах человека, то ми-
мо растущих деревьев успевало пройти не одно поколение лю-
дей. Деды, а потом внуки видели, как становились все выше
и толще деревья, ежегодно одаривая всех плодами. В холода
они умели сбрасывать листву, засыпая терпеливым сном, чтобы
с новым теплом ожить снова. Неудивительно, что для людей
деревья стали воплощением силы, плодородия, вечной жизни!
Самое старое дерево живет на Земле более шести тысяч лет.
Твой предок и племянник, Инко Тихий, пробывший в холод-
ном сне время смены четырехсот поколений людей, пережил
всего два поколения таких деревьев. Как же можете вы, ма-
риане, из-за нелепого страха добровольно отказаться от такой
радости, как растения?!

— Горячи и проникновенны твои слова, Пришелец. И больно
ранят они нас, мариан, немогущих выйти на поверхность Мара,
где воздух отравлен и где, увы, невозможно им так радостно
общаться с растениями, как человеку на Земле, столь осчаст-
ливленному и столь ненасытному.

Слова жреца глубоко запали в душу моего друга. Я видел, как задумался он и как сверкнули его глаза озарением, которое, как узнал я много позже, вылилось в План Великого Преображения Марса.

Таков был Даль, прошедший со мной рядом три четверти земного века.

И как мало времени досталось нам с Эрой! Какой-нибудь земной год, который для нее оказался длинной во всю ее оставшуюся жизнь...

Все же, по ее признанию, она была счастлива, увидев своими глазами Космическое Переливание Крови и Море Смерти, превращенное в Поток Жизни.

Но не потому ли погибла Эра так скоротечно, что побывала в Антарктиде и глубинах Марса?

Сколько раз я задавал себе этот вопрос!

Все в жизни связано и вытекает одно из другого. Не будь несчастья в Антарктиде, не спасай Эра меня, перенапрягаясь выше всякой меры, не отдай она мне свою кровь, не отравись она, наконец, аммиачной и углекислой атмосферой на Марсе, может быть, и не сказались бы так трагически внутренние изменения организма, вызванные неудачными попытками ее пробуждения!

Да, все это можно было бы избежать... если бы Эра не была самой собой.

Как противоречива и вместе с тем как цельна ее натура!

Совершенно не подготовленная к тяжелой Миссии Разума, она все же входит в ее состав, чтобы быть вместе со мной, которого полюбила еще на Маре. В дальнейшем ей пришлось побеждать себя на каждом шагу. Начиная со встречи в космосе с блуждающим ледяным трупом древней фазетессы. Эра испугалась ее так, что даже не могла пойти на станцию Фобо. А вот женщина Земли Эльга Сергеевна впоследствии бесстрашно исследовала эту замороженную мумию. Однако та же самая Эра без всяких колебаний отказывается отпустить меня одного к костру лесного охотника кагарачей и безмятежно засыпает, как и я, у порога его хижины.

Она рядом со мной, когда рушатся стены Города Солнца, когда наступает яростное море с одной стороны и низвергается всежигающая огненная река с другой. И естественно, просто становится она моей подругой жизни на обреченном корабле инков во время всеобщего потопа.

И всегда я чувствую ее нежную верную руку: когда переплывали мы океан сначала на корабле, потом на плоту, наконец, просто вплавь в кипящем пеной проливе у рифов острова Фату-Хива.

Рука об руку поднимались мы с ней по беломраморным ступеням к причудливому храму тысячи крыш, в портике которого нас ждала «многорукая» (по представлению людей) богиня, наша Первая Мать Мона, ставшая потом Моной-Запретительницей, чтобы оградить мариан от жестоких людей, которые когда-нибудь придут на Марс.

И люди пришли на Марс!

Я размышляю обо всем этом, сходя по сброшенному с корабля МАРЗЕМ-976 трапу на поверхность Марса.



Эра могла бы быть со мной, она могла бы увидеть то, что открылось сейчас мне и Далю, человеку Земли.

Какие изменения произошли здесь за четверть земного века!

Разрослись марсианские леса неимоверной вышины. Кроме круглых кратерных озер, появились реки, извилистые, поросшие гибким кустарником, местами дугой нависшим над водой с берега на берег. И что самое главное: всюду в листве рассыпаны крыши домиков, легких и уютных, которые построили люди для своих братьев, марсиан, отдавая им Долг Разума за спасение Земли от столкновения с Луной.

Население Марса будет пока ничтожно мало по сравнению с его просторами, ждущими своих хозяев, потомков фазтов. Фазты — это ведь сыны Солнца! Под Солнцем и жить им отныне на Марсе.

Первыми выходят старцы, седобородые, низкорослые, бледные. Они шуряют от непривычно яркого света, вдыхают животительный воздух, напоенный незнакомыми запахами, и даже хватаются за грудь, словно ожегшись.

Конечно, до этого уже немало марсиан выходило без скафандров в новую атмосферу, самоотверженно доказав ее безвредность. Но массового выхода глубинных жителей на поверхность еще не было. Реакция тех, кто впервые дышит воздухом под небом, произвольна.

Все гуще толпа, жмущаяся к утесу и словно боящаяся отойти от привычных пещер. С удивлением смотрят обитатели недр на дикийинные скопления воды в кратере и складках местности.

Некоторые, выйдя из толпы, осторожно подходят к воде, нагибаются, зачерпывают ее рукой, пьют, брызгают себе в лицо, потом на соседей... Ведь там, в глубине, каждая капля воды считалась бесценной, а здесь... щедро подаренная людьми вода разлилась реками, заполнила огромные водоемы, напитков не только поверхность планеты, но и ее новую атмосферу.

В небе плывут облака.

Они тоже кажутся удивительными тем, кто никогда не видел неба.

Какие поразительные, живые рисунки кисти неведомого художника, неистощимой фантазии Природы!

Они меняют любые очертания, никогда не повторяясь.

А Солнце! Солнце, которое облака скрывают лишь на мгновение! Что может быть ярче этого светильника, источающего с неба, а не со свода пещеры, свет и тепло! Говорят, на Земле оно вдвое больше. Это вообще невозможно представить!

Новые хозяева входят в предназначенные им, разбросанные тут и там в лесной чаще дома. Они словно искусно вплетены в живую природу, составляют как бы ее часть. И они кажутся чудом, ничем не напоминая пещер и выбитых в камнях келий.

В просторных светлых комнатах легко укрыться от солнца или от дождя, этого еще не проявившегося пока чуда, когда с неба сама собой льется бесценная для глубин влага.

И наконец, из шлюзов выпускают детей.

Щебечущая ватага вырывается из распахнутых настей ворот и застывает в немом изумлении. Ребятишки-то совсем не знали, чего им ждать.

Мгновенная тишина сменяется неистовыми, ликующими волнами.

Малыши рассыпаются повсюду, храбро осваиваясь с новой природой, притом непостижимо быстро.

Некоторые уже лезут на деревья, хотя видят их впервые. Другие валяются в траве, устраивают свалку, затеяв борьбу или бег взапуски. И все это со смехом, криком и визгом.

Девочки бродят среди цветов. Их тут целые поляны.

И не надышаться здесь пьянящим медвяным запахом!

Кто и когда мог научить марсианок вить венки? Откуда эта изобретательность и чувство красоты?

Цветы украшают, цветы — символ радости, символ любви!

И рядом вода! Сколько угодно воды! Больше чем можно было представить самому пылкому воображению!

Взрослые пытаются сдержать детей. Ведь никто из них не только еще не умеет плавать, но даже не знает, что это такое!

И тем не менее сотни голых тел, слишком блеклых для земного глаза, слишком тонких и хрупких, устремляются к озеру.

Самые отчаянные с разбегу влетают в воду, разбрызгивая ее, вздымая клубы тумана. И носятся по мелководью с хохотом, визгом, криками радости.

Марсиане получили земную воду, марсиане дышат воздухом под собственным небом!

Так разве не лучше ли было хоть сто лет подряд слать с Земли в космос ракеты Жизни вместо того, чтобы за сто минут погубить ракетами Смерти всю жизнь на Земле или даже уничтожить всю планету, как бывшую Фаэну?

Не так ли, Даль? Не так ли, Мада? Не так ли, Аве? Не так ли, Эра?

Но только Даль отвечает мне:

— Прав, тысячу раз прав один из наших видных ученых, говоря, что «нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и покорить».

Никто из резвящихся в воде марсианских ребят не знал ни о Жолио-Кюри, ни об этих его словах, но новую радость жизни подарили им люди, понявшие, чему должны служить знания!

И я с этими людьми всей душой до того самого мига, когда рядом с Эрой займу свое место в межзвездном мавзолее.

Дай руку мне, Дали! Мы — братья!

Конец «дачи Фролова»

Отрывок из повести

Надеюсь, вы, господин Менжинский, объясните мне причину ареста, — возбужденно сказал смуглолицый, с ястребиным носом человек, одетый в новенький английский френч с накладными карманами и щегольскими, тисненой кожи пуговицами.

— Вас никто не арестовывал, Раздолин, — ответил Вячеслав Рудольфович и придвинул к себе папку. — Вас просто пригласили на беседу ко мне.

— Не так-то просто отличить арест от приглашения на беседу к председателю ОГПУ, — криво усмехнулся Раздолин, усаживаясь возле стола.

— А между тем здесь существенная разница. При аресте мы должны предъявить вам конкретное обвинение, а в беседе достаточно ответов на некоторые вопросы.

— Чем я обязан такому высокому вниманию?

«Так вот ты какой, бывший войсковой старшина Раздолин», — думал Менжинский, внимательно глядя на сидевшего перед ним человека.

Они встретились впервые, но заочно знали друг друга давно. В девятнадцатом году бывший войсковой старшина был связным между подпольным кадетским «Центром», готовившим заговор против Советов, и деникинской разведкой полковника Хартулари. Тогда Раздолин сумел ускользнуть от чекистов, от особоуполномоченного ВЧК Менжинского...

И вот теперь Раздолин снова появился на советской земле. Легально, на законных основаниях.

Раздолин изо всех сил пытался напустить на себя равнодушный вид. Но в его круглых, с рысией желтизной глазах то вспыхивали, то потухали тревожные огоньки. В просторном кабинете председателя ОГПУ он чувствовал себя явно неуютно.

— Я прибыл в Россию... — заговорил Раздолин, чтобы разрядить молчание.

— В СССР, господин Раздолин...

— Хорошо... В Союз Советских Социалистических Республик, если вам угодно официальное наименование.

— Угодно, господин Раздолин, потому что оно соответствует действительному положению вещей. Есть СССР, а той России, которая существует в вашем воображении, давно уже нет.

— Я прибыл, как вам известно, по законной и официальной визе с деловым предложением, господин Менжинский.

Я хочу получить концессию. Хочу продать вам хлеб, машины, продовольствие. Вы ведь нуждаетесь в этом.

— Да, нуждаемся... Особенно в машинах. В стали, в прокате, в рельсах и паровозах. Но не пытайтесь уверять меня в ваших добрых намерениях, господин Раздолин. Все, что дают по концессионным договорам, приносит прибыль дающим.

— Естественный деловой оборот.

— Естественный, — улыбнулся Менжинский и пристально взгляделся в собеседника.

— Поверьте, я давно отошел от политики. Теперь я простой коммерсант... Я не могу сказать, что симпатизирую Советам, господин Менжинский. Но поймите, когда деловой человек приезжает с предложением вложить капиталы, он рассматривает вас как устойчивого и платежеспособного контрагента...

— Что ж, резонно и доказательно, — согласился Менжинский, помешивая ложечкой остывший чай в стакане.

Ему было ясно, что сейчас Раздолин говорит правду. Менжинский знал, что деньгами его собеседник распоряжается лишь по доверенности жены — вручив беглому войсковому старшине перезрелую, засидевшую в девицах дочь Альбиона, ее дядюшка, английский банкир Гольфсмит, не дал мужу права распоряжаться приданым жены. Это было оговорено особым пунктом брачного контракта. И конечно, Раздолин был очень заинтересован в заключении концессионного договора на приличный кусок ставропольской степи, где он намеревался организовать конный завод. Такой договор ему бы очень помог в отношениях с прижимистым и крайне несговорчивым Гольфсмитом.

— Соболаговолите ответить, господин простой коммерсант, для какой надобности вам потребовалось перед приездом к нам посетить в Париже великого князя Николая Николаевича?

С минуту помедлив, Раздолин ответил:

— Я получил от князя письменное приглашение встретиться, чтобы поговорить о сотрудничестве. Отказаться я не мог, господин Менжинский.

— Как же прошли ваши переговоры?

— Я еще раз убедился, что сотрудничество с князем невозможно. Притязания его высочества на монарший престол смахивают на опереточный фарс...

Окопавшийся в Париже великий князь Николай Николаевич и в самом деле до сих пор не оставлял мечты о возвращении престола Романовых. Его отнюдь не смущало, что престол этот находится в некотором отдалении от его особы и представляет уже исторический экспонат. Порфиросносным мечтаниям беглого князя можно было бы и не придавать особого значения. Но эти устремления подкреплялись силой «Российского общевоеинского союза», где ставленник Николая Николаевича генерал Кутепов. У «союза» была армия в несколько десятков тысяч человек, «военная академия» и даже собственные «высшие полицейские курсы». Во всех странах, граничащих с СССР,

«союз» имел свои «представительства», проводившие открыто и тайно активную контрреволюционную работу против СССР.

— Странно слышать от вас подобную оценку усилий великого князя. Ведь вы же в свое время состояли в его свите.

— Да... Был у его высочества адъютантом. Но к моему приезду сюда это не имеет никакого отношения, господин Менжинский. Вы знаете, что в эмиграции я не пошел на поклон ни к Врангелю, ни к Кутепову. Не стал заниматься на службу, не влезал в долги, не продавал ни совести, ни имущества...

— Имущества тогда у вас уже не было, Раздолин, — усмехнулся Менжинский и раскрыл лежащую перед ним папку. — Остатки капиталов вы вложили в крайне невыгодное предприятие. Ассигновали на нужды московского кадетского «Центра».

Раздолин нервно шевельнулся, изо всех сил удерживаясь от желания заглянуть в папку, которую не спеша перелистывал Менжинский.

— Почему в эмиграции вы порвали с великим князем?

— И это вы знаете... Конечно, ваши люди основательно работают в эмигрантских организациях, отделяя, так сказать, ягниц от козлищ... Князь тогда мне не мог помочь. У его высочества в Париже возникли чрезвычайные расходы... Вы думаете, это дешево стоит, ежевечерне давать роскошные балы и банкеты? Я понял, что при таких тратах не могу обременять князя... Уехал в Англию и встретил там Эдит.

— Не столько Эдит, сколько ее фунты. Давайте будем точны, Раздолин. Могу сказать, что в тогдашнем положении вы разумно определили последнее, что у вас еще осталось...

— Извините, но это выходит за рамки нашего разговора, господин Менжинский. Прошу иметь в виду, что Эдит британская подданная и у нее английский паспорт.

— В чем же конкретно должно было заключаться сотрудничество, которое предложил вам великий князь?

— Конкретно это предполагалось объяснить после моего согласия.

— Вы отказались?

— Да.

— Почему же тогда вы поехали из Парижа в Москву через Гельсингфорс?

— Так легче было оформить визу, господин Менжинский. Кроме того, мне нужна была крупная партия картона.

По поспешности и четкости ответа Менжинский понял, что Раздолин ждал подобного вопроса и подготовился к нему. Партия картона им действительно была закуплена у одной из финских фирм.

— С кем вы встречались на «даче Фролова»?

— Вы солидно осведомлены, господин Менжинский. Но согласитесь, что наша беседа уже превращается в допрос.

— Я надеюсь на вашу разумность, Раздолин. Бизнесмен должен обладать способностью трезво оценивать положение. Я понимаю, что на вашу искренность мне рассчитывать трудно. Но в допустимых пределах попытайтесь быть разумным.

— Хорошо. На «даче Фролова» я встречался с представителями русской эмиграции. Их весьма интересовала моя легальная поездка в СССР.

— В каком плане?

— Не скрою, опять шел разговор о сотрудничестве. В весьма настойчивой форме. Но в столь общих чертах, что вряд ли я могу быть тут вам полезен.



Рисунки П. ПАВЛИНОВА

— С кем имели разговор?

— С Бунаковым и моим бывшим однокашником по Павловскому училищу поручиком Мономаховым.

— И снова не договорились?

— Я просто-напросто дал им денег. Небольшую сумму в твердой валюте.

— А точнее?

— Тысячу фунтов... Я теперь бизнесмен, господин Менжинский. Зачем мне путаться в их авантюры. Вы правильно заметили, что надо уметь реально оценивать вещи...

Менжинский слушал Раздолина и думал о том, что на открытую борьбу с Советской властью он теперь уже не решится. Житье на парижских чердаках основательно выучило его. Сейчас Раздолин слишком дорожит собственной шкурой и благоприобретенными вместе с Эдит фунтами, которые дают ему возможность в отличие от множества других эмигрантов носить щегольской френч, шелковое белье, жить в дорогих гостиницах и пользоваться покровительством консульств, благоговеющих перед британским львом в паспорте жены.

— Я не могу сказать вам что-либо конкретное, — продолжал Раздолин, — но у меня сложилось впечатление, что «дача Фролова» должна интересовать ваше ведомство... Ее посещают многие эмигранты. Особенно из числа бывших офицеров.

Менжинский захлопнул папку и откинулся на спинку просторного кресла.

— Теперь я верю, Раздолин, что вы действительно стали бизнесменом... Вовсю торгуете. От сотрудничества в священной борьбе с большевиками откупились тысячи фунтов... Чтобы заручиться поддержкой в отношении концессионного договора, своих однокашников по мелочам продаете... В допустимых пределах...

— Но, господин Менжинский, вы меня неправильно поняли...

— Понял я вас абсолютно правильно... Пропуск можете получить у секретаря.

— А мое прошение о концессии?

— Мне кажется, вы несколько опоздали со своим бизнесом, господин Раздолин. Конечно, нам трудно. Но с конезаводами мы теперь уже справимся сами.

Когда за Раздолиным закрылась дверь, Вячеслав Рудольфович поднялся, растер глухо ноющую тупой болью поясницу и подошел к карте.

В путанице линий, меридианов, границ и дорог глаза нашли четкий кружок с надписью «Гельсингфорс». Другой точки, которая интересовала Менжинского, на карте не было: для географов «дача Фролова» была слишком мизерным объектом. Но если смотреть с другой точки зрения...

Беседа прибавила неприметную крупницу к тому, что чекисты знали о таинственной даче. Но, как иногда случается, эта крупница потянула вниз балансир невидимых весов.

Вячеслав Рудольфович нажал кнопку звонка и сказал вошедшему помощнику:

— Покорнейше прошу, Григорий Генрихович, дать мне «Гельсингфорские» материалы. Данные о возможной активности кутеповцев в Финляндии подтверждаются... Из Наркоминдела мне снова звонили. Мы обязаны дать им убедительные материалы.

...Господин Бунаков, представитель великого князя Николая Николаевича в Финляндии, последние годы работал предельно осторожно. Времена менялись не в лучшую сторону.

Для той работы, которой занимался Бунаков, Финляндия была идеальным местом. После революции здесь осело немало активных офицеров. Не все они оказались стойкими перед жизненными испытаниями и преданными некогда принятой ими присяге. Но пока еще было вполне достаточно таких, кто умел стрелять и ничем другим не желал заниматься. Их прибрал к рукам Бунаков. Держал на коротком поводке умеренными подачками и знал, что за хороший кусок можно в любой момент спустить с цепи.

Финская разведка знала, чем занимается в Гельсингфорсе господин Бунаков, и оказывала ему негласную помощь. Шуцкоры еще не отказались от мечты о «Великой Финляндии», которая должна была объединить финские племена, проживающие на территории Советского Союза. Газеты кричали об угнетении карелов и утверждали, что на восток «Великая Финляндия» должна простираться до Урала.

Существенным было и то, что Финляндия имела с Советской Россией почти тысячекилометровую границу, протянувшуюся от Баренцева моря до Ленинграда. В Карелии граница проходила по дикой тайге, озерам, мхам и торфяным топям, где редкие заставы красных не всегда могли загородить путь проводникам, знающим потайные тропы и звериные переправы через болота. Еще севернее тянулись нехоженные тундры, где зимой границу можно было проскочить на быстрой оленьей упряжке.

Деятельность господина Бунакова в Финляндии не была секретом для правительства большевиков. Левые финские газеты пытались писать о якобы враждебной финским интересам деятельности эмигрантских офицерских союзах и «братств», но цензура строго следила, чтобы такие нежелательные публикации не попадали в печать. Однако и она не могла, например, вырезать заметку в хронике происшествий, что загулявшие офицеры из «братства георгиевских кавалеров» заставили в ресторане оркестр играть «Боже, царя храни», а потом били бутылками зеркала и вступили в драку с подроспевшей полицией.

Большевики заявили несколько официальных протестов по линии министерства иностранных дел Финляндии. Финны ответили, что о деятельности каких-либо враждебных эмигрантских групп официальным органам ничего не известно. К скандальным заметкам в хронике дипломатам было трудно прицепиться. Мало ли случается происшествий в ресторанах? Это дела частного порядка, к государственным интересам отношений не имеют, и с ними должна разбираться уголовная полиция.

Получив известие, что в Гельсингфорс прибывает личный представитель генерала Кутепова, Бунаков уединился в

своем кабинете, чтобы еще раз просмотреть последние материалы и шифровки. Перелистывая бумаги, хранившиеся в тайнике за стенкой книжного шкафа, Бунаков нашел несколько листов, исписанных косым быстрым почерком. Листки уже пообтрепались на сгибах, чернила поблекли, и бумага залохматилась по углам.

Бунаков вздохнул и стал перечитывать давнее письмо Сиднея Рейли.

Автора письма уже не было в живых. Стреляного воробья, матерого разведчика перехитрили чекисты. В сентябре 1925 года Рейли попался на удочку ОГПУ, проводившего тщательно разработанную контрразведывательную операцию, перешел советскую границу и попался в руки красных.

Крупные провалы испугали генерала Кутепова, собравшегося было лично приехать в Финляндию, где Бунаков сколачивал группу боевиков-террористов. Генерал предпочел пока отсиживаться подальше от русской границы и посылать в Финляндию доверенных подручных.

«Визитеры» пыжились, напускали на себя важный вид, говорили значительным голосом пустяковые, трескучие фразы.

Никто из них не мог заменить Бунакову могущественного покровителя и наставника, человека, располагавшего в Финляндии большими возможностями, незабвенного и милого сердцу Сиднея Джорджа Рейли.

Бунаков бережно вынул листки и стал перечитывать последнее письмо Рейли.

«...Третий способ, вне которого, по моему глубокому убеждению, нет спасения, — это террор. Террор, направляемый из центра, но осуществляемый маленькими независимыми группами или личностями против отдельных выдающихся представителей власти. Цель террора всегда двоякая: первая — менее существенная — устранение вредной личности, вторая — самая важная — всколыхнуть болото, прекратить спячку, разрушить легенду о неуязвимости власти, бросить искру. Нет террора, значит, нет пафоса в движении, значит, что жизнь с такой властью еще не сделалась фактически невозможной, значит, движение преждевременно или мертворожденно...»

— «Мертворожденно», — повторил Бунаков, закурил папиросу и посмотрел в окно, за которым притухал серый день. Было начало апреля, а весна еще не чувствовалась. С Балтики надоедливо дули сырые, знобящие ветры. Они приносили липкий снег, тяжело просыпавшийся на острокопечные крыши, на тротуары, на мостовые из тесаного гранита. Даже финны, привычные к капризной погоде своей холодной земли, и те ворчали, зябко кутаясь в воротники.

Бунаков взял следующий листок.

«...Я уверен, что крупный теракт произвел бы потрясающее впечатление и всколыхнул бы по всему миру надежду на близкое падение большевиков, а вместе с тем деятельный интерес к русским делам. Но такого акта еще нет, а

поддержка Европы и Америки необходима уже в начальной стадии борьбы. Я вижу один путь приобрести ее».

Умная голова была у Сиднея Рейли. Но на одних словах и лозунгах далеко не уедешь. Бунакову вспомнилась восточная пословица: «Хоть сто раз скажи слово «халва», во рту слаще не будет».

Нужен, очень нужен крупный теракт...

* * *

Кутеповским эмиссаром на сей раз оказалась Мария Владиславовна Захарченко-Шульц, родственница и доверенное лицо генерала. Миловидная, с энергичными жестами дамочка, вместо того чтобы заботиться о муже и воспитывать детей, с увлечением играла в тайные заговоры, паролы, шифрованную переписку, явки и маскарады с темными очками и накладными бородами.

— От организационного этапа мы должны перейти к конкретным действиям, — безапелляционно заявила она при встрече с Бунаковым. Закурила тонкую папироску и покровительственно кивнула представителю «николаевцев». — Генерал весьма доволен вашей работой...

— Польщен отзывом, — вежливо ответил Бунаков.

Ему, боевому офицеру, награжденному «георгием», командовавшему полком во время брусилковского прорыва, было трудно принимать в качестве начальства эту темноглазую дамочку завлекательных форм. Вместо того чтобы выслушивать указания о таких делах, куда женщинам меньше всего требуется совать нос, Бунаков с удовольствием бы пригласил Марию Владиславовну поужинать в ресторане, а потом отвез бы до утра в собственную холостяцкую квартиру.

Но у госпожи Захарченко-Шульц имелись широкие полномочия Кутепова, которым Бунаков обязан был безоговорочно подчиняться. Вольностей и ослушания генерал не допускал, и рука на этот счет у него была тяжелая.

— Я охотно присоединяюсь к оценке генерала, — сказала Мария Владиславовна и улыбнулась.

Только глаза ее не улыбались. Глубоко посаженные глаза эмиссара настороженно, с плохо скрытым недоверием ощупывали Бунакова, хотели высмотреть в нем такое, что представитель «николаевцев» хотел бы утаить.

— Печальный случай с господином Рейли заставляет нас быть предельно осторожными, — сказала Мария Владиславовна, так и не спуская с Бунакова пристальных глаз. — Где размещаются ваши люди?

— В Пакенхюле... Там мы сняли два пансионата. На окраине. Рядом лес и пустыри. Трудновато с оружием. Пока удалось раздобыть несколько револьверов. Используем для тренировочных стрельб.

— Оружием я обеспечу... Тут нам поможет капитан Розенстрем из финской разведки... Вы к нему не обращались?

— С этим вопросом нет. Не имел полномочий.

— Похвальная дисциплинированность, господин Бунаков, — усмехнулась Захарченко-Шульц, и глаза ее немного оттаяли. — Вопрос обеспечения оружием я беру на себя.

«Безусловно, мадам, — насмешливо подумал Бунаков, — вам это будет легко сделать». Представитель «николаевцев» знал, что уже несколько лет Мария Владиславовна выполняет в Париже, отнюдь не безвозмездно, деликатные поручения определенных кругов. Видимо, это обстоятельство сыграло немаловажную роль, когда Кутепов решал вопрос о посылке в Гельсингфорс очередного полномочного представителя. Генерал знал о частных занятиях экстравагантной, обожающей таинственные дела, волевой и энергичной родственницы. Одной из главных задач эмиссара было договориться о снаряжении групп, которые предстояло направить в красную Россию.

— Группы укомплектованы полностью?

— Пока нет. Я имею приказ привлекать к будущей операции только лиц, безусловно поддерживающих великого князя Николая Николаевича. Есть на примете несколько подходящих офицеров, но их политические убеждения...

— Конечно, политические симпатии имеют существенное значение, господин Бунаков. Но вряд ли разумно сейчас ставить организационные рогаки перед теми, кто изъявляет желание быть в первой шеренге борцов за грядущую Россию.

— Это облегчает дело, Мария Владиславовна. В таком случае будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся укомплектовать группы.

— Как со взрывчаткой?

— Взрывчатки нет. Кидаем для тренировки жестянку с песком вместо динамита.

На следующий день поехали в Пакенхюль. За пустырем, на кромке леса, возле заброшенного песчаного карьера, Бунаков собрал подготовленную группу.

Бывшие офицеры довольно бесцеремонно рассматривали эмиссаршу в юбке, прикатившую из Парижа, чтобы проинструктировать боевиков, как драться с коммунистами.

Бунаков понимал, что господа офицеры, так же как и он, вполне резонно полагают, что Мария Владиславовна куда больше подошла бы им не в качестве полномочной представительницы генерала Кутепова.

Захарченко-Шульц внимательно наблюдала, как боевики швыряют начиненную песком банку из-под салаки и всаживают пули в трухлявый пенек, к которому была приклеена самодельная мишень.

— Все должно быть тщательно отработано, господа, — наставительно говорила Мария Владиславовна. — Во время операции у вас будет только единственная возможность... Повторить вам не позволят. Это обстоятельство должно быть особо учитываемо... Пожалуйста, попробуйте еще раз, господин Монахов!

— Мономахов, с вашего позволения, сударыня, — хмуро поправил эмиссара человек с утлогообразным лицом, в

потрепанном офицерском кителе и поднял увесистую жестянку, имитирующую бомбу.

Мария Владиславовна приготовила секундомер.

— Внимание!.. По счету три — кидайте. Раз... два... три!

Длиннорукий Мономахов размахнулся и тренированным движением швырнул жестянку точно в круг, очерченный на осевшем апрельском снегу.

— Превосходно! Отличный бросок, господин Мономахов! — командирским баском похвалила боевика Мария Владиславовна.

Бунаков прятал подбородок в теплый воротник из выдры и с молчаливым неодобрением смотрел, как Захарченко-Шульц выступает в роли командира-наставника.

Ощущение Бунакова передалось боевикам. Стреляли они вяло и непростительно мазали. Даже Савельев, умеющий мгновенно выхватить из кармана пистолет и, почти не целясь, выпустить без промаха обойму, сегодня несколько раз посылал пули в «молоко». Кроме Мономахова, никто не мог швырнуть осточертевшую жестянку в начерченный круг.

Мария Владиславовна вытягивала руку с секундомером, отдавала команду и первая кидалась к мишеням. Ноги ее в щегольских, с тугой шнуровой гамашах проваливались в подтаявшем снегу. Подол длинной юбки намок и грузно шлепал энергичную Марию Владиславовну по щиколоткам изящных ножек.

— Благодарю вас, господа! — нахваливала она расклеившихся боевиков. — Я уверена, что наши героические усилия всколыхнут силы истинных русских патриотов, и священная война вспыхнет очистительным ураганом. Подобно весеннему половодью он смое в небытие большевистский мусор и комиссарский деспотизм. Заря свободы снова засверкает над нашим обновленным отечеством.

— Простите, мадам... Насчет зари свободы все ясно, — перебил Мономахов разговарившегося эмиссара. — Когда мы пойдем на дело?

— Когда получите приказ, — жестко осадил Мария Владиславовна любопытного боевика. Прошла к автомобилю, подобрав намокшую юбку, ловко нырнула на сиденье и укатила из Пакенхюля.

* * *

— Вы уверены в них, Бунаков? На меня они не произвели отличного впечатления.

— Абсолютно надежные люди, Мария Владиславовна... Просто засиделись, надоело швырять банку с песком. Не плохо подумать о наградных.

— Да, поощрять господ офицеров явно необходимо. Я дам вам нужную сумму. Хорошо... Вызовите их на «дачу Фролова», — распорядилась Мария Владиславовна. — Оружие и все остальное, что необходимо, будет доставлено прямо на «дачу». Через некоторое время там проведем окончательную проверку.

Помолчала и сказала главное:

— Дней через десять на «дачу Фролова» прибудет «тетя Минна».

«Ого, — подумал Бунаков, услышав про «тетю Минну». — Генерал Кутепов собственной персоной пожалует. Серьезное дело замышляется».

— План операции уже есть?



— Не будьте слишком любопытны, Бунаков, — сухо сказала Мария Владиславовна, и глаза ее снова стали настороженными. — Во всяком случае, комиссарам не поздоровится. «Тетя Минна» лично определит задание боевикам. Этот мрачный, который так метко кидал бомбу...

— Мономахов, — подсказал Бунаков. — Дмитрий Мономахов... Поручик, командовал ротой...

— Дмитрий Мономахов, — повторила Мария Владиславовна. — Мне он больше всех понравился...

— К сожалению, крупно пьет... Порой дело доходит до запоев.

— Как жаль... Будьте любезны, остановитесь у моей гостиницы.

— Как насчет поощрения, Мария Владиславовна? — напомнил Бунаков.

— Да... Мы договорились, что господ офицеров нужно поощрить.

Она открыла сумку и протянула Бунакову пачку финских марок в мелких купюрах.

— Полагаю, что для первого раза будет достаточно. Разрешите им два дня отдыха. Но предупредите, чтобы никаких чрезвычайных происшествий... Мономахову скажите особо. Это приказ, Бунаков. Группа должна произвести на генерала хорошее впечатление.

Вячеслав Рудольфович медленно прикрыл глаза и, ухватившись рукой за стол, стал откидываться в кресле, преодолевая невидимую преграду.

— Разрешите помочь?

— Благодарю вас, Григорий Генрихович, не надо... Сейчас все пройдет. Позвоночник еще ничего. Я уж вроде к нему притерпелся. А вот астма — это дело потруднее.

— Отдохнуть вам надо, Вячеслав Рудольфович.

Темные глаза помощника скинули деловое выражение. Стали жалостливыми и участливыми. Они удивительно быстро умели менять выражение, и это всегда вызывало у Вячеслава Рудольфовича чувство невольной настороженности. Он умел быть проникательным, ловить малейшие движения человеческой души, но угадывать калейдоскопическую смену выражений глаз собственного помощника ему не удавалось.

С Григорием Генриховичем Менжинский работал уже полдесятка лет. У помощника был недюжинный талант организатора. Никто другой не смог бы так наладить работу аппарата и внести строжайшую систему в поток самых разнообразных бумаг, ни одну из которых нельзя было оставить без пристального внимания. Незначаящая вчера, могла сегодня стать наиважнейшей. Эту трансформацию бумаг помощник угадывал почти так же, как и Вячеслав Рудольфович. Внешне суховатый и малоразговорчивый, Григорий Генрихович был чрезвычайно требователен к себе и еще более требователен к подчиненным, обладал огромной работоспособностью и аккуратностью до педантизма в мелочах. Случалось, он в этом перехватывал через край, и обиженные шли жаловаться к Менжинскому. Вячеслав Рудольфович как мог успокаивал их, делал внушения Григорию Генриховичу, хотя и понимал, что помощник не пересилит собственную натуру и не согласится в глубине души, что ее нужно пересиливать.

— Есть сообщение, что «тетя Минна» выехала в Гельсингфорс.

— «Тетя Минна»? — переспросил Вячеслав Рудольфович и снова прикрыл ресницами воспаленные от бессонницы и усталости глаза. — Добрая и непоседливая старушка... Непонятно только, почему иногда «тетю Минну» именуют также «дядюшка Пуд»? Весьма вульгарные клички. Кто бы подумал, что эти полууголовные эпитеты относятся к такой личности, как Кутепов. Такая персона, один из заправил «Воинского союза», генерал-лейтенант...

— После Февральской революции командовал лейб-гвардии Преображенским полком, — подсказал Григорий Генрихович.

— Вот именно... Прибавьте еще — личный друг великого князя Николая Николаевича. И вдруг «тетя Минна». С какой же целью, уважаемый Григорий Генрихович, отпра-

вилась, по вашему мнению, сия «тетя» в столь далекое для нее путешествие?

— Видимо, с целью инспекции, Вячеслав Рудольфович. «Тетя Минна» никак не может отрешиться от генеральских привычек. Ей захотелось окинуть командирским взором тех, кого Бунаков собрался направить к нам. Судя по всему, формирование террористических групп наконец закончено. «Восьмой» сообщает, что из Пакенхюля молодчики недавно убрались под Гельсингфорс. Видимо, на «дачу Фролова». Судя по характеру тренировок, задумана серьезная диверсия или серия террористических актов. Особенно настораживает внимание то, что боевики усердно занимались метанием бомб.

— Куда они могут быть нацелены?

— Полагаю, Вячеслав Рудольфович, что на железную дорогу. На такие объекты, как водокачки, мосты, привокзальные склады. Иначе к чему им было бомбы швырять?

— Водокачку или мост одной бомбой не взорвешь... Мне думается, что они решили произвести массовый теракт. Вот куда подойдут их бомбы. Распорядитесь, чтобы была усилена охрана государственных и партийных учреждений. Особенно в те дни, когда там происходят заседания и ответственные конференции.

— Понимаю, Вячеслав Рудольфович.

Помощник нагнул голову. Его глаза теперь были внимательны и озабочены. Сухие пальцы бегали по блокноту, делали короткие записи об очередном разговоре с председателем ОГПУ.

— Надо проследить, не будет ли у «тети Минны» по пути в Гельсингфорс подозрительных контактов. Особенно с представителями реакционных кругов. Нам нужно наконец добыть, Григорий Генрихович, неопровержимые доказательства, что финские официальные органы и лица причастны к подготовке террористов. Недавно опять дипломаты настаивали, чтобы мы дали им такие факты.

Менжинский выпрямился и придвинул кипу газетных вырезок.

— Все это, что вы подготовили, безусловно, интересно, Григорий Генрихович. Для нас это лишнее подтверждение, что финны знают о подготовке террористических групп Бунаковым. Но нашему комиссариату по иностранным делам, как и следовало ожидать, такие материалы не подходят. Драки, пьяные дебоши, скандалы в ресторанах, к сожалению, не являются доказательными фактами в дипломатической практике...

— Бунаков осторожничает...

— А что ему остается делать? Фамилии и клички участников террористических групп известны?

— Не все. Много боевиков привлечено впервые. В этом направлении идет необходимая работа, Вячеслав Рудольфович.

— Отлично. Будем ориентироваться в наших планах на то, что боевики не пойдут на железную дорогу... Взрыв водокачки на какой-нибудь станции вряд ли удовлетворит Кутепова. Для такого пустяка он не поехал бы сам в Гель-

сингфорс. Этих господ интересует большой шум. Раз так, то террористов нацелят на Москву, на Ленинград.

— Это нереально, Вячеслав Рудольфович. В Ленинград, а тем более в Москву им не пройти. Если, конечно, мы сами не захотим этого.

— Не захотим, — более жестко, чем обычно, ответил Вячеслав Рудольфович. — Границу надо закрыть плотно. Особенно на Ленинград. Туда от финнов пустяк добраться... Близко, очень близко проходит у нас граница от красного Питера... Там заслон должен быть надежнейшим. И не надо самообольщаться, Григорий Генрихович. Уверенность — дело нужное, но в нашей работе при девяносто девяти надежных процентах всегда надо теоретически рассчитывать на один процент собственных промашек. И строить работу, чтобы из этого единственного процента снова исключить девяносто девять его составляющих...

Помощник согласно наклонил голову, и его карандаш скользнул по странице блокнота.

— Покорнейше прошу извинить, Григорий Генрихович, но мои слова вряд ли столь велики, чтобы требовали запечатления в письменной форме, — иронически прищурившись, сказал Вячеслав Рудольфович. — Эти аксиомы чекист должен знать с той самой минуты, когда он переступает порог нашего учреждения. Оптимальным результатом нашей контроперации было бы задержать кутеповских боевиков с поличным при переходе границы на Ленинград. Тогда финнам трудно будет отрицать, что они засланы не с их территории. Но возможно, «тетя Минна» такой вариант учитывает и боевиков прямо на Ленинград направлять не будет.

— Сложнее, если боевиков пошлют в обход.

— Сложнее. Для нас сложнее и для генерала Кутепова. Но такую возможность тоже предусмотрите в оперативных разработках. Каждое новое сообщение о «тете Минне» прошу покорнейше докладывать мне лично.

* * *

Дача была двухэтажной, рубленой «в лапу». Сосновые бревна отдавали янтарным отливом добротного дерева. По коньку остроконечной крыши был пущен резной, с затейливыми узорами, гребень.

От других дач в тихом поселке она отличалась плотным двухметровым забором и массивными воротами, перепоясанными коваными полосами. Обитатели дачи жили уединенно. Они не общались с соседями, приезжали из Гельсингфорса вечерними поездами и старались незаметно проскользнуть в калитку.

Ленсман*, живший в соседнем доме, даже на всякий случай сообщил полиции о своих подозрениях. Но полицейский офицер успокоил ленсмана. Заверил его, что ни фальшиво-

* Ленсман — представитель власти в сельских местностях в Финляндии и Швеции.

монетки, ни взломщики сейфов, ни тем более бандиты на даче не собираются. Хозяин ее — достойный и состоятельный человек, но у него есть странности, на которые не стоит обращать внимания.

Сегодня ленсман имел возможность убедиться, что хозяин дачи действительно почтенный человек. К полудню ворота дачи распахнулись, и к ним подкатили два черных автомобиля. Пожалуй, только господин губернатор мог ездить на таких дорогих автомобилях.

Ленсман снял шалку, когда длинные автомобили катили мимо его дома, и подумал, что визит в полицию был явно излишним.

* * *

— Обстановка, господа, складывается для нас очень благоприятно, — оглядев собравшихся, сказал генерал Кутепов.

Он прибыл в одном из черных автомобилей на эту уединенную дачу, известную среди некоторых посвященных под названием «дача Фроловых», где теперь были собраны боевики, подготовленные стараниями Бунакова и экипированные Захарченко-Шульц.

Боевикам предстояло повернуть вспять историю России, покончить с властью коммунистов и возвратить престол великому князю Николаю Николаевичу, другу и покровителю бывшего командира лейб-гвардии Преображенского полка, генерал-лейтенанта Александра Павловича Кутепова.

Время для инспекционной поездки генерал выбрал удачно. К его радости, над большевистской Россией начинали сгущаться тучи. Нужно было лишь усилие, чтобы высечь искру. Тогда сразу полыхнут молнии.



...В мае 1927 года советская торговая делегация заключила в Лондоне соглашение с Мериленд-банком, по которому банк предоставил внешторму займ на сумму десять миллионов долларов. Естественно, с выплатой соответствующих процентов. Такое соглашение Мериленд-банк подписал отнюдь не из симпатий к большевикам. Просто трезвые головы из банка раньше других учуяли, что на мир надвигается экономический кризис, и, пока есть время, надо искать спасения собственным капиталам. Глаза банкиров невольно обратились на восток. Идеи большевиков ужасны и отвратительны. Они неприемлемы для цивилизованного мира. Но в России огромный рынок сбыта. Ей нужно все: станки, паровозы, моторы, сукно, ботинки, карандаши, трансформаторы, тракторы, лабораторное оборудование, измерительные приборы, семена, химикалии, резина. И это в те времена, когда в Америке и Европе началось свертывание производства из-за трудностей сбыта, подступила угроза перепроизводства, надвигался кризис. Рынок России будет все время расширяться, потому что эти сумасшедшие коммунисты приняли какой-то невероятный план индустриализации страны. Их план, конечно, химера, через год-два он рассыплется как карточный домик. Но это не беспокоит Мериленд-банк. На фантазиях большевиков у банка будет возможность продержаться самые трудные годы.

Соглашение, заключенное Мериленд-банком, заставило задуматься и других банкиров. Выгоды, которые можно было получить от развития деловых отношений с Россией, были настолько заманчивы, что кровные интересы бизнеса начали подтачивать непоколебимую, казалось, неприязнь к большевистскому режиму. В конце концов, доллары и фунты не пахнут...

Угрожала развалиться еще одна блокада — финансовая, которой кое-кто надеялся поставить коммунистов на колени. Соглашение, подписанное Мериленд-банком, пробило в ней брешь.

Финансовую блокаду надо было спасать. Нельзя мыслить столь близоручо, как это сделали управители Мериленд-банка. Ради десятка миллионов они поставили под угрозу высшие интересы капитала, которые нельзя подчинить мелкому бизнесу. Миллионы, данные большевикам займы, могут превратиться в такое оружие, с помощью которого красные уже без всяких соглашений заберут у капитала миллиарды...

На следующий день после подписания соглашения помещение смешанного акционерного общества «Аркос», созданного для расширения торговли между СССР и Англией, было захвачено полицией. Такой же налет был произведен на помещение советской торговой делегации на Мургет-стрит. В налетах, как сообщали газеты, принимало участие больше двухсот бравых лондонских констеблей и агентов тайной полиции.

Министр иностранных дел Великобритании Чемберлен в ноте, направленной советскому поверенному в делах, безапелляционно заявил:

«Недавний обыск, произведенный полицией в помещениях «Аркос-лимитед» и русской торговой делегации, окончательно доказал, что из дома № 49 по улице Мургет направлялись и осуществлялись как военный шпионаж, так и разрушительная деятельность по всей территории Британской империи».

Сказано было сильно. Но эффектные слова господину Чемберлену оказалось трудно подтвердить фактами. Министр внутренних дел ее величества лорд Хикс мог лишь заявить в палате общин, что «некто, служивший в помещении Аркоса, незаконно владеет или владел одним официальным документом».

Этого «некто» оказалось достаточно, чтобы правительство Болдуина разорвало отношения с СССР.

— ...Из хорошо информированных кругов, — продолжил генерал Кутепов, — мне сообщили, что разрыв отношений между Англией и большевиками может в самое ближайшее время перерасти в военный конфликт... В войну, господа офицеры! В решительные военные действия. Да-с! Наша святая обязанность, господа, в это историческое время обратиться все силы на борьбу с большевиками. Русским людям необходимо объединить усилия для решающей схватки с красной заразой. Мы должны проскакать по Русской земле, как Георгий-победоносец, беспощадно поражая острыми копьями комиссаров и их змеиных выкормышей... Беспощадно, господа офицеры!

Кутепов перевел дух, вынул батистовый платок и промокнул белоснежной тканью вспотевший лоб.

— Вырисовываются три направления, по которым мы должны активизировать борьбу, — оставив патетический тон, по-деловому заговорил генерал. — Первое — это возможные военные действия. В случае войны у нас должны быть готовы активные группы преданных нам людей. Они вольются в действующие союзные войска в качестве самостоятельных единиц, находящихся под нашим командованием...

Боевики начали оживленно и заинтересованно переглядываться друг с другом. Кажется, Кутепов сегодня скажет кое-что дельное. «Георгий-победоносец и острое копье» уже набило оскомину.

— На территории России эти группы с самых первых дней будут представлять не только военные, но и административные ячейки...

— Генерал-губернаторов? — спросил угрюмый Мономахов. — Так прикажете понимать, ваше превосходительство?

Кутепов уставился на любопытного боевика. Скользнул глазами по его медвежьей фигуре и, видимо, решил, что на генерал-губернатора поручик Мономахов не потянет.

— Будущую законную власть государя-императора, — уклончиво ответил он.

Встал и осенил себя размашистым крестом. Все собравшиеся в «даче Фролова» последовали примеру Кутепова, выразив тем самым верноподданнические чувства к будущему российскому самодержцу.

— Благодарю вас, господа, — взволнованно сказал Кутепов, откашлялся и деловито продолжил: — Вторая задача — это организация восстаний в тылу большевиков... Да, да, восстаний. В каждом городе, в каждом селе, деревне и хуторе. У комиссаров должна гореть под ногами земля. Армии наших союзников должны встретить в России помощь и поддержку всего народа. Мир воочию увидит, сколь ненавистен русским людям режим большевизма. Для подготовки таких восстаний надо направить самых надежных наших борцов. Отправить их незамедлительно.

Среди собравшихся произошло приметное движение. Бунаков смущенно крикнул и взглянул на Захарченко-Шульца, восторженно внимавшую словам Кутепова. Конечно, планы генерал высказывал заманчивые. В Париже их сочинять легко, а каково здесь, в Финляндии, под самым носом у большевиков, выполнить их? Немедленно послать в Россию людей! А где их взять, как снарядить? Как их в Россию переправить? Неужели Кутепов и те, кто вместе с ним сочиняет планы, не понимают, что чекисты не спят... «В каждом городе, в каждом селе...» Бунаков не мог сдержать внутренней усмешки, представив по меньшей мере наивную картину, как несколько тысяч офицеров переходят советскую границу и с наклеенными бородами, в армиях и поддевах разъезжаются по городам и селам.

— Эти люди сплотят зреющие в большевистском подполье силы ненависти к комиссарскому режиму и призовут народ к свержению ненавистного ига, — захлебываясь от удовольствия, рокотал генеральский бас. — Лавина гнева разольется по России очищающими потоками...

Бунаков вдруг сообразил, что Кутепов искренне верит тому, о чем говорит, и ему стало нехорошо. Где-то в глубине души снова, в который раз, скользнуло желание скорее удрать подальше. В Аргентину, в Австралию... Под чужим именем, чтобы не достали руки Кутепова.

— Третье, господа, что нам предстоит сделать, — это террор. Беспощадный, карающий террор, который везде должен достигать комиссаров. На каждом шагу, господа офицеры!

После генеральской речи был произведен смотр боевикам. В сопровождении Бунакова и Марии Владиславовны генерал Кутепов четким военным шагом прошелся по просторной комнате из конца в конец, предоставив боевикам возможность построиться для инспекции.

— Смирно! Равнение налево!

Властная команда выровняла шеренгу. Головы боевиков повернулись в сторону генерал-лейтенанта.

В строю стояло девять человек. Для выполнения великих задач «по трем направлениям», о которых только что говорил генерал, преданных борцов было маловато.

Но это не смутило высокое начальство. Кутепов прошелся вдоль строя с таким видом, будто он впрямь, как в старые времена, принимал парад лейб-гвардейского полка.

Инспекторское око было зорким.

— Капитан Болмасов! — повернувшись на каблуках, Ку-

тепов остановился возле высокого боевика, стоящего вторым в шеренге. — Почему вы встали в строй с расстегнутой пуговицей?

— Виноват, ваше высокопревосходительство! — подтянулся нарушитель дисциплины и торопливо стал застегивать злополучную пуговицу.

— Никакой расхлябанности и своеволия я не потерплю! — сурово начал выговаривать Кутепов. — Вы имеете честь состоять в русской армии, Болмасов, и подчинены ее уставам... Святую присягу принимали. Да-с! Если еще раз



с вашей стороны, капитан, будет допущено нарушение устава, я посажу вас под арест. Да-с! Под арест, на семь суток!

— Слушаюсь, ваше превосходительство! На семь суток под арест!

Провинившийся откликнулся с такой готовностью, что у Кутепова возникла невольная опаска. Капитану явно больше нравилось отправиться под арест, чем выполнять те великие задачи, о которых говорилось на сегодняшнем совещании.

— На первый раз предупреждаю, капитан, — строго сказал Кутепов и решил, что не стоит задерживаться с напутственной речью.

— Господа, вы должны гордиться, что первыми вступите на землю нашей многострадальной родины, узурпированной большевиками. Я счастлив сообщить вам, что неустанными трудами наших друзей в России вспахана почва для активной борьбы. Вам остается кинуть в нее зерна, чтобы заколосилась нива народного гнева. Как только иностранные державы увидят воочию наши героические успехи, со всех сторон посыплются — да, господа офицеры, посыплются, я не оговариваюсь, употребив это слово, — предложения о помощи и поддержке. Для взрыва мины под ногами комиссаров нужно только поднести огонь к запалу. И этот огонь мы доверьем поднести вам, господа офицеры. Дерзайте, и всевышний благословит ваши десницы. Великая слава ожидает вас! Я лично доложу его императорскому высочеству о тех, кто первым пошел выполнять священный долг. Желаю успехов, господа, и хранит вас бог!

* * *

Уже несколько дней Ларионов, Соловьев и Мономахов скрывались в Левашовском лесу. В буреломной глуши удалось отыскать сухую полянку, окруженную путаным, непролазным ивняком, надежно скрывающим ее от любопытных глаз. На полянке соорудили шалаш, где укрыли снаряжение и спали по ночам. Огонь не разжигали, осторожно прислушивались к крикам птиц, к таинственным лесным шорохам, нечаянному хрусту веток и колыханию ивняка под порывами ветра.

Километрах в пяти от укрытия была дачная платформа. По утрам, тщательно приведя себя в порядок, трое бойцов поодиночке отправлялись к ней. Неприметно смешивались по дороге с людьми, спешившими в город, садились в пригородный поезд и через полчаса оказывались в Ленинграде.

На троих мужчин делового, сосредоточенного облика никто не обращал внимания. В дачных поселках каждый сезон появляются новые люди, и местные жители привыкли к постоянной смене проживающих.

В Ленинграде Ларионов, Соловьев и Мономахов прежде всего спешили к газетному киоску и покупали вразнобой

все газеты, какие можно было только добыть. В ближайшем сквере торопливо листали их.

Но сообщения, которого они искали, все не было и не было.

* * *

По первоначальному плану, одобренному лично генералом Кутеповым, с «дачи Фролова» должны были отправиться три группы боевиков. Но в последний момент проводники капитана Розенстрема, диковатые, до глаз заросшие бородами финны-лесовики, отказались вести за кордон такую большую группу. Тем более что нельзя было переходить границу на Карельском перешейке: против этого категорически возражал Розенстрем. Возражения капитана были понятны. Если красные схватят боевиков при переходе границы возле Ленинграда, карьера Розенстрема сразу кончится. Такого провала начальство ему не простит.

Играло роль и то, что последнее время красные очень тщательно охраняли границу в районе Карельского перешейка. Увеличили число застав, чаще проводили контрольное патрулирование и насадили множество секретов. У Бунакова даже колыхнулась мысль, не связаны ли эти меры с тем, что происходило последнее время на «даче Фролова», но он рассердился на себя и отогнал это обжигающее непонятным холодному подозрение.

Через границу пошли две группы. Пошли далеко в обход: по карельским лесам, по торфяным болотам и топким марям.

После перехода границы боевики разделились. Ларионов, Соловьев и Мономахов двинулись на Ленинград. Они имели задание поджечь в Ленинграде какое-нибудь крупное предприятие и произвести несколько террористических актов, предпочтительно массового характера — организовать взрывы в партийных или советских учреждениях, в редакциях газет.

Захарченко-Шульц и Андерс направились к Москве. Они имели задание организовать взрыв общежития сотрудников ОГПУ на Малой Лубянке.

Вооружены группы были солидно. Каждый боевик получил два пистолета — большой дальнобойный маузер или парабеллум и маленький семизарядный браунинг. В заплочных мешках несли гранаты, круглые плоские бомбы большой разрушительной силы, взрывчатку. Имели солидные суммы советских денег и на всякий случай — золотых десятков с портретами бывшего российского императора.

Планом предусматривалось, что ленинградская группа начнет действовать, когда в газетах появится сообщение о взрыве в общежитии ОГПУ. Чекисты кинутся на этот взрыв, внимание их отвлечется, и вот тогда Ларионов, Соловьев и Мономахов устроят грохот в Ленинграде.

День проходил за днем, а сообщения о взрыве на Малой Лубянке так и не появлялось.

— Может, провалились? — сказал Мономахов, когда очередной раз были просмотрены все газеты.

— Все может быть, — откликнулся Ларионов, который в тройке был за старшего. — Может, пока добраться до общежития не могут...

— А мы тут глаза мозолим, — вступил в разговор Соловьев. — Досидимся, что сцапают... Надо начинать... или уходить.

Ларионов потер шею, искусанную комарами, покосился на хмурых компаньонов, сидевших на облезлой скамейке привокзального сквера, и подумал, что тянуть дальше в самом деле нельзя. Если московская группа провалилась, Захарченко-Шульц чего доброго проболтается чекистам. Шустрая дамочка не внушала Ларионову доверия. Марии Владиславовне чекисты могут развязать язык и узнать про ленинградскую группу. Конечно, в миллионном городе троих найти не так просто, но чекисты умеют работать. В этом Ларионов убедился на собственном опыте, когда год назад делал «ходку» из Латвии за красный кордон. Только чудо — притормозивший в ложбинке товарный поезд — помогло ему унести ноги...

— Будем начинать, — сказал Ларионов. — Будем действовать самостоятельно.

Настроение у боевиков было невеселое. Те радужные картинки, которые расписал генерал Кутепов перед отходом групп на задание, были далеки от правды. Никакие силы в большевистском подполье не зрели, и у комиссаров не горела под ногами земля. Расхаживали они по ней прочно, деловито и без малейшей опаски. Активно занимались хозяйственными делами. Фабрики и заводы работали, биржи труда закрывались. В газетах можно было прочитать объявления о том, что требуются инженеры, техники, опытные металлисты, путейцы и особенно — строители. Многочисленные, непривычные боевикам названия трестов, контор, синдикатов и кооперативов попадались почти на каждой ленинградской улице. Раздолья товаров в магазинах не было, но не было голода и других ужасов, о которых так красноречиво рассказывал Кутепов на «даче Фролова».

Подпольных ячеек и групп боевики тоже не нашли. На одной из двух полученных ими явок вместо Семена Семеновича, которого полагалось спросить о продаваемом примусе, дверь открыла молодая, коротко стриженная женщина в красной делегатской косынке. Вопрос о примусе сразу застрял у Мономахова в горле, и он пробормотал что-то неразборчивое насчет ошибки в адресе. Замешательство насторожило делегатку. Ларионов и Соловьев, поджидавшие Мономахова на перекрестке, видели, как женщина в косынке вышла из подъезда за Мономаховым и внимательно посмотрела вслед уходящему боевику. На вторую явку не решились идти. Укрылись в тот же день в буреломном углу Левашовского леса, решив, что ночевать с комарами все-таки безопаснее, чем искать приют у собратьев по подпольной работе. Предусмотрительно запаслись коньяком и в сырые болотные ночи спасались им от озноба и страха.

Шатаясь по Ленинграду, боевики быстро сообразили, что не только в Смольный, но и в районные советские и партийные учреждения с бомбами и гранатами им не пройти. Старательные молодые милиционеры в аккуратной форме ретиво несли службу. Требовали пропуска, документы, удостоверяющие личность. Вежливо козыряли и объясняли, что посторонним проходить не разрешается.

Наконец боевики нашли подходящий объект.

— Читайте, — сказал Мономахов, протягивая газету. — Нам это подойдет...

В газете сообщалось, что седьмого июня в Деловом и Дискуссионном клубе (Мойка, 29) состоится очередное заседание философской секции под председательством Позерна. Доклад на тему «Американский неореализм» будет прочитан Ширвиндом.

Немедленно отправились на Мойку. В Деловом и Дискуссионном клубе была суета, и все двери были нараспашку. Трое мужчин не спеша побродили по клубу, заглянули чуть ли не в каждую комнату, осмотрели входы и выходы.

Вечером в Левашовском лесу, потягивая коньяк и расправляясь с комарами, составили план действий.

* * *

Минут за десять до объявленной лекции, на которую собрались преподаватели Института красной профессуры, студенты и лекторы-пропагандисты, в вестибюль клуба вошли трое. Не спеша огляделись по сторонам и направились к столу, где регистрировались посетители.

— Простите, Ширвинд здесь будет лекцию читать? — спросил один из пришедших у сотрудницы клуба.

— Да, здесь... Пожалуйста, не задерживайтесь... Лекция скоро начинается. Прошу записаться в книге. Документы у вас имеются?

Вопрос о документах вызвал некоторое замешательство у пришедших, но женщина была занята делом и не обратила внимания на странную реакцию пришедших.

— Пожалуйста, — сказал один из них, мрачноватый мужчина с тяжельми глазами и неподвижным, будто каменным лицом. — Вот мой партбилет.

— Почему у вас такой маленький номер партбилета? — спросила сотрудница, листая странички, чтобы проверить уплату взносов.

— Я из Москвы, у нас там маленькие номера, — после явной запинки ответил посетитель. — Видите, я в книге регистрации так и записал «м/б» — «московский билет».

Отметка успокоила насторожившуюся было сотрудницу клуба. Двое других тоже зарегистрировались в книге, и документы их не вызвали никаких вопросов.

— Простите, как пройти в буфет? — спросил один из пришедших. — У нас в гостинице испортился кипятыльник... Может быть, мы успеем выпить по стакану чая.

— Пожалуйста, по коридору налево... Просьба не задерживаться, товарищи.

Мрачноватый мужчина снял макинтош и повесил его на вешалку. Двое других были в пиджаках и раздеваться им не потребовалось.

Из буфета они возвратились, когда лекция уже началась. — Проходите скорее, товарищи... Просьба не шуметь.

В небольшом зале, где Ширвинд начал читать лекцию, никто не обратил внимания на человека с портфелем, осторожно, как это делают опоздавшие, открывшего дверь. Только лектор досадливо поморщился. Ширвинд не любил, когда во время лекции начинают вот так, бочком проскальзывать в дверь и на носках проходить по залу к свободным местам.

На этот раз вошедший не стал проходить от дверей. Он настороженно замер, и рука его скользнула под пиджак.

Из-за полуприкрытой двери раздалась короткая команда. — Бросай!

Вошедший Мономахов выхватил из-под пиджака бомбу и тренированным движением кинул ее к креслам.

Пороховая гарь воспламенившегося запала пронеслась по залу.

Лектор остановился на полуслове. Оцепенелыми глазами он смотрел, как, курясь беловатым дымом, летит кругляк, начиненный взрывчаткой.

Кругляк тяжело шлепнулся на пол, заставив слушающих лекцию вскочить на ноги.

Оцепенение прошло. В рядах кинулись в сторону от бомбы, которая наискось катилась по полу, виляя на неровностях паркета.

Взрыва не последовало.

Крайний из слушателей кинулся к Мономахову, все так же стоявшему возле полураскрытой двери. Ухватил его за рукав и занес кулак для удара.

В это мгновение в двери появился Ларионов и кинул вторую бомбу.

Мономахов, ощутив цепкую хватку чужих пальцев, пришел в себя. Рванулся, уклоняясь от кулака, выхватил браунинг, выстрелил в живот тому, кто пытался его задержать, и быстро выскользнул за дверь.

В зале тяжело и глухо ударил взрыв. Посыпались разбитые стекла, распахнулась дверь, и клубы седого дыма вывалились в коридор. В дыму стонали, кричали и ругались, что-то падало и трещало.

На бегу, почти не оглядываясь, Ларионов швырнул в дым гранату.

В вестибюле боевиков остановить было некому. Соловьев, прикрывавший террористов у входа, тоже выскочил из клуба и побежал по улице, держась поодаль, за Мономаховым и Ларионовым.

Мономахов и Ларионов громко кричали:

— Скорее! Милиция! На помощи!

— Бросили бомбу!..

— Люди гибнут!..

Из-за угла вывернулся, придерживая на бегу кобуру нагана, молоденький милиционер.

— Что случилось?

— В клуб! Бегите скорее... Там бросили бомбу! — крикнул Ларионов.

— Взорвали клуб!.. Люди погибают! — добавил подскокивший Мономахов.

Будь милиционер поопытнее, он бы задумался, почему эти двое, громко призывающие на помощь, бегут прочь.

Но у милиционера были наивные глаза, еще не потеряв-



шие мальчишескую синеву, новехонькая гимнастерка, полученная всего месяц назад, при вступлении в милицию. Услышав про гибнущих людей и бомбы, увидев клубы дыма, которые вываливались из окон, он выхватил из кобуры наган и помчался к клубу.

Трое соединились на перекрестке квартала за два от клуба. Окликнули дремавшего извозчика и поехали к вокзалу. Успели как раз к отходу пригородного поезда и через час оказались на укромной полянке возле шалаша.

— Вкатили большевикам горячего под хвост, — сказал Мономахов, ухватил бутылку коньяка и ловко вышиб пробку.

Не успел он сделать и глотка, как Ларионов вырвал у боевика бутылку и швырнул ее в явняки.

— Уходить! — приблизив к Мономахову серое лицо, крикнул старший. — Немедленно уходить!.. Прямо к границе. Никаких остановок и обходов.. Будем пробиваться силой!

Торопливо собрали имущество и продукты. Оставшиеся бутылки по приказу Ларионова побросали в болото. Раскидали хрупкий шалаш, присыпали место хвоей и прошлогодними листьями.

Проверили оружие и, ступая след в след, пошли по направлению к Черной речке. В белесом свете июньской ночи по-звериному неслышно скользили в кустарниках, крались по опушкам, проскакивали безлюдные по позднему времени лесные дороги и далеко обходили жилые места.

На болотистом берегу Черной речки нарвались на пограничный патруль. На приказ остановиться ответили огнем. Кинули в осок заплечные мешки и долго, до изнеможения бежали по кустарнику. Над головами свистели пули упорно преследовавших пограничников. На бегу перезаряжая маузеры, отстреливались, наугад посылая пули.

Одна из них наповал уложила собаку-ищейку. Это помогло, перебравшись через болото, оборвать след. Забились в какие-то непролазные дебри и отдышались под вывернутыми корнями обомшелой валежины. Прикинули по карте место, где находились, и круто повернули на север. Шли всю ночь. В предутреннем тумане удалось проскочить сквозь цепочку пограничных дозоров.

Увидев финского солдата, без сил повалились на траву.

Уже в Гельсингфорсе узнали, что взрывом бомбы в Ленинградском Деловом и Дискуссионном клубе было ранено двадцать шесть человек. Из них четырнадцать — тяжело.

Бунаков сердечно жал руки, выдал по пачке марок и повез ужинать в дорогой ресторан.

От генерала Кутепова пришло личное поздравление.

* * *

В ночь на третье июня дежурный в доме ОГПУ на Малой Лубянке обнаружил в подсобном помещении мелинитовую бомбу весом в четыре килограмма. Бомба была немедленно обезврежена.

Оперативное расследование установило, что поздно вечером в подъезде общежития были замечены подозрительные мужчины и женщина с тяжелым чемоданом. Удалось также получить описание их внешности.

— Немедленно начинайте розыск, — распорядился Вячеслав Рудольфович, когда ему доложили о происшествии. — Надо перекрыть все дороги на Смоленск. Усильте наблюдение в Москве. Может быть, неизвестные решат пересидеть шум здесь.

Вскоре поступило сообщение о случае на Яновском спиртозаводе. Рано утром по дороге Ельшино — Смоленск через территорию спиртозавода проходил неизвестный гражданин. Постовой милиционер заявил ему, что проход через территорию завода запрещен, и потребовал документы. Неизвестный выхватил браунинг и выстрелом в упор тяжело ранил милиционера. Работающие неподалеку сезонники, услышав выстрел, кинулись вдогонку за убегающим человеком. На опушке леса тот стал отстреливаться и ранил еще двоих.

О происшествии было немедленно сообщено в областное управление ОГПУ. Когда оперативная группа прибыла на Яновский завод, неизвестный уже скрылся в лесу.

— Этот молодчик явно из тех типов, которые нас интересуют, — сказал Менжинский, ознакомившись с оперативным донесением. — Выучка чувствуется, и нервы сдали... На стрельбу быстр. Другой бы не стал на милиционера кидаться и обнаруживать себя. Предъявил бы какую-нибудь бумагу и выкрутился без шума. Этот напуган и идет на все... О женщине ничего не поступило?

— Пока нет, Вячеслав Рудольфович...

— Надо активно искать, Григорий Генрихович. Такое зверье, вооруженное пистолетами и гранатами, ни перед чем не остановится. Уже ранено три человека. Оперативные группы нацеливайте на скорейший захват. Смоленским товарищам надо оказать помощь.

— Я уже распорядился, Вячеслав Рудольфович. Четыре часа назад в Смоленскую область, в район происшествия, направились две машины с оперативниками.

— Покорнейше благодарю, Григорий Генрихович. Но это го недостаточно. — Менжинский привычным жестом скинул со лба уже седеющую прядь волос и продолжил: — Прошу размножить приметы террористов и самым незамедлительным способом разослать их сельским Советам с нашей просьбой... Да, Григорий Генрихович, именно с просьбой помочь ОГПУ в поимке диверсантов.

У помощника смешались руки, перебиравшие бумаги, подготовленные для доклада.

— Простите, Вячеслав Рудольфович, но такое обращение расшифрует наши оперативные действия. Кто знает, кому оно может попасть?

— Советским гражданам, Григорий Генрихович... Разве это не ясно?

— Безусловно, Вячеслав Рудольфович... Но, к сожалению, опыт нашей работы показывает, что под личиной совет-

ских граждан немало маскируется врагов. Обращение может попасть к ним и осложнить наши оперативные действия.

— Прочитав его, диверсанты догадываются, что их ловит ОГПУ, — с улыбкой перебил Менжинский. — Милейший Григорий Генрихович, это они знали с той минуты, как их нога ступила на советскую землю. Америки мы здесь им не откроем. Да, враги маскируются под честных советских граждан, и мы не должны забывать о бдительности. Но бдительность и подозрительность — это разные вещи. Ради нескольких подлецов мы не имеем права подозревать каждого советского человека.

— Оперативная работа необходимо требует секретности. Это истина, Вячеслав Рудольфович.

— Истина... Но я же не приказываю разглашать для всеобщего сведения наши оперативные планы. Речь идет о конкретном случае. Вы опасаетесь, что наше обращение попадет в руки врагам. А вы задумайтесь поглубже над тем сообщением, которое только что мне доложили... Без нашего обращения рядовой милиционер проявляет бдительность и падает раненым. Рабочие-сезонники без указания свыше кидаются вдогонку за преступником. Знают, что он вооружен, что он будет стрелять, и все-таки организуют погоню... Я не уверен, был ли у них хоть дробовик против пистолета. Тем не менее действуют они так, что диверсант должен отстреливаться. Еще двое рабочих падают ранеными. Это факты, Григорий Генрихович, и за ними стоит наша действительность. На этих фактах, на этой действительности мы должны строить нашу работу, а не высасывать, приношу извинения, из пальца в высоких кабинетах заумные теоретические выкрутасы насчет особой бдительности... Да, оперативные планы не должны разглашаться, но из-за этого не доверять всем и каждому было бы грубейшей ошибкой. Наша главная сила не в оперативных работниках, а в народе, в поддержке населения. В тех рабочих-сезонниках с Яновского завода, которые без всякой команды кинулись за вооруженным преступником.

— Я абсолютно согласен с вами, Вячеслав Рудольфович, — сказал помощник. Его глаза были непроницаемы. Менжинский понял, что, несмотря на слова согласия, Григорий Генрихович убежден, что председатель ОГПУ сейчас совершает ошибку.

К пояснице начала подкрадываться знакомая боль. Остро кольнула в позвоночнике. Вячеслав Рудольфович сжал губы, чтобы не показать боль помощнику. Он не хотел увидеть жалостливые, с чуть уловимым оттенком превосходства здорового человека глаза, которые мгновенно могли менять выражение.

— Я полностью разделяю ваши убеждения, Вячеслав Рудольфович, что в нашей работе мы должны опираться на народ, на советских людей. Но все начинается с малого. Одно обращение к населению, второе, третье — и наши враги будут информированы о тех методах, которыми мы пользуемся в работе.

— В данном случае это как раз хорошо. Диверсантам и всем прочим полезно убедиться в том, что советские люди активно помогают чекистам, а чекисты вполне доверяют советским гражданам...

— Информация врага всегда в первую очередь на пользу врагу.

— Покорнейше прошу, Григорий Генрихович, приготовить обращение, — сухо вато сказал Менжинский, понимал, что в одном разговоре ему не переубедить собственного помощника. — Укажите приметы диверсантов и предполагаемый маршрут их движения... И конечно, нашу просьбу.

— Будет исполнено, Вячеслав Рудольфович. Разрешите идти?

Через полчаса Менжинскому принесли на подпись обращение к населению.

* * *

Андерс, которого от Яновского завода преследовала оперативная группа, нащупавшая его следы, был обнаружен километрах в десяти от Смоленска. В ответ на предложение сложить оружие он открыл стрельбу, и в завязавшейся перестрелке был убит. У него нашли пистолет, большой запас патронов, топографическую карту и деньги.

Захарченко-Шульц пробивалась в сторону Пскова. У нее была явка к контрабандистам, которые могли помочь перейти границу.

Уже несколько дней Захарченко-Шульц шла на запад. Старательно обходила деревни и села, отсиживалась в глухомани, прислушивалась к каждому шороху и снова шла, ориентируясь по компасу и карте.

Слова генерала Кутепова о тайственном антибольшевистском подполье, которые Мария Владиславовна с восторгом и верой слушала на «даче Фролова», не стоили ломаного гроша. Генерал выдавал желаемое за действительное. Теперь Захарченко-Шульц на собственной шее ощущала роковые заблуждения ее родственника.

Мария Владиславовна понимала, что стоит ей появиться возле жилья, как ее немедленно схватят. Схватят самые обычные мужики, которые, случается, поругивают власть и председателя сельсовета, обижаются насчет нехватки керосина, ситца и гвоздей, которые воюют со своими сыновьями-комсомольцами, желающими закрыть церкви. Они схватят Захарченко-Шульц без лишних разговоров и передадут в руки той власти, на которую они порой обижаются.

Сил оставалось мало. Обостренным инстинктом, каким-то шестым чувством, Захарченко-Шульц ощущала невидимое, но упорное преследование. Чекисты шли за ней и шли быстрее, чем она уходила к спасительной границе.

На полянке, заросшей рябинником, она упала плашмя, застыла без единого движения, чтобы отдышаться, успокоить стук сердца, унять резь под ложечкой, чтобы смахнуть рукавом пот с лица и на мгновение закрыть глаза.

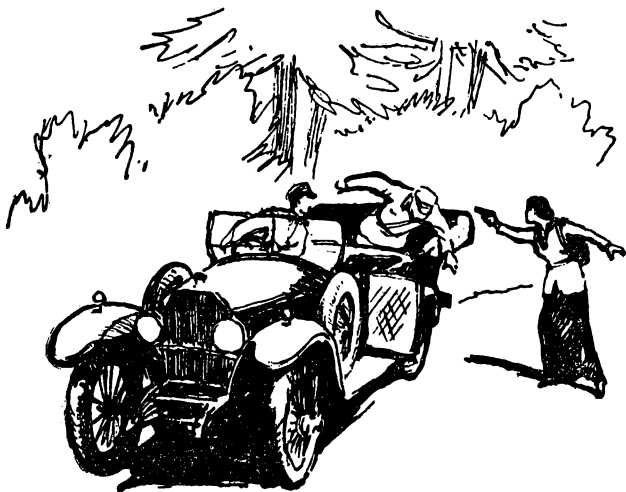
Послышался приближающийся рокот автомобиля. Мария Владиславовна поднялась, раздвинула ветки молодого, в буйном цветении рябинника и сообразила, что отдыхать она устроилась почти возле шоссе.

Асфальтовая лента плавно заворачивала вправо, за поворотом, невидимый еще за ельником, ворчал приближающийся автомобиль.

Захарченко-Шульц проверила обойму в пистолете и передернула затвор, загоняя патрон в патронник. Отряхнула с юбки налипшие соринки и пригладила ладонями волосы. Вышла на шоссе и подняла руку.

Открытый «форд», в котором сидело двое военных, пискнул сигналом и остановился возле молодой женщины.

— Подвезти тебя, красавица? — спросил белозубый водитель и, не дожидаясь ответа, откинул дверцу. — Садись смелее. До Рудни подкинем в момент... А хочешь, так в Смоленск прокатим.



В Смоленск Захарченко-Шульц не собиралась. Ехать ей нужно было в противоположную сторону — на Витебск. Она улыбнулась, подошла к распахнутой дверце «форда» и выхватила пистолет.

— Поворачивай!

— Ты что, сдурела, тетка! — закричал водитель. — С ума сошла... А ну убери оружие!

Кричал и понимал, что женщина с оцепеневшими глазами, так неожиданно встреченная на шоссе, пистолет не опустит.

Военный, сидевший позади, рванулся, чтобы выпрыгнуть,

но из дула пистолета полыхнуло обжигающее пламя, и военный перевесился через борт автомобиля, достав до земли ватными руками.

Водитель круто вывернул руль, но пули настигли и его. «Форд» потерял управление и беспомощно ткнулся передком в ствол дерева. Мотор заглох. Из радиатора, сбитого ударом, текла вода.

Захарченко-Шульц грубо выругалась. Раненый водитель застонал. Вскинув пистолет, она не целясь выпустила в него несколько пуль и нырнула обратно в густой рябинник.

Теперь надо было как можно скорее уходить от шоссе, где, уткнувшись мотором в ствол сосны, стояла легковая машина и лежали двое залитых кровью людей.

* * *

Обращение, разосланное по сельсоветам, подняло на ноги тысячи людей. Вооружась кто чем мог, люди встали такими заслонами, что Захарченко-Шульц скоро ощутила невидимую, но прочно опоясавшую ее сеть. Пока в этой сети еще оставалось пространство и она металась из стороны в сторону, уже понимая, что выхода не найти, что сеть будет неотвратно сжиматься вокруг.

Следы террористки обнаружили в районе станции Дре-тунь. Оперативная группа, которой активно помогали крестьяне ближних деревень, окружила Захарченко-Шульц на большом поле. Прорваться сквозь кольцо не удалось. Сдаться родственница генерала Кутепова не пожелала. Залегла на меже и отстреливалась, пока ответная пуля не ужалила намерть.

* * *

В августе на территории Карельской республики были задержаны еще две группы боевиков. Болмасов и Сольский были захвачены на лесной дороге и не успели оказать сопротивление. Шарин и Соловьев, убившие лесника, были застигнуты на берегу Онежского озера километрах в шести от Петрозаводска. Они оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке.

* * *

На суде, где рассматривалось дело о террористах, засланных в СССР, присутствовали представители финского посольства. Припертые к стенке неопровержимыми фактами, они уже больше не могли ничего отрицать.

В сентябре 1927 года финское правительство было вынуждено опубликовать официальное сообщение.

«Уже продолжительное время печать СССР вела кампанию против Финляндии, утверждая, что русским эмигрантам

в Финляндии якобы разрешается готовить террористические акты для осуществления их на территории СССР. В силу этого обстоятельства, а также потому, что народный комиссар по иностранным делам обратил на это дело внимание нашего посланника в Москве, финское правительство распорядилось произвести расследование. Выяснилось, что некоторые проживающие здесь русские эмигранты злоупотребляют правом убежища. Вследствие этого трем эмигрантам был вручен приказ о высылке. Расследование продолжается.

О вышеупомянутом сделано в Москве сообщение Советскому правительству».

* * *

...Чуть позже в финских газетах появилось объявление: господин Бунаков продавал дачу.

На 1-й и 4-й стр. обложки — рисунок А. ГУСЕВА.

На 2-й стр. обложки — рисунок Ю. МАКАРОВА к роману А. КАЗАНЦЕВА «Фазы».

На 3-й стр. обложки — рисунок П. ПАВЛИНОВА к повести М. БАРЫШЕВА «Конец «дачи Фролова».

Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. ДНЕПРОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, А. В. НИКОНОВ, А. А. НОДИЯ, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ.

Редакторы выпуска О. СОКОЛОВ, В. МАЛОВ

Художественный редактор Т. ПРОКУДИНА

Технический редактор А. БУГРОВА

Рукописи не возвращаются.

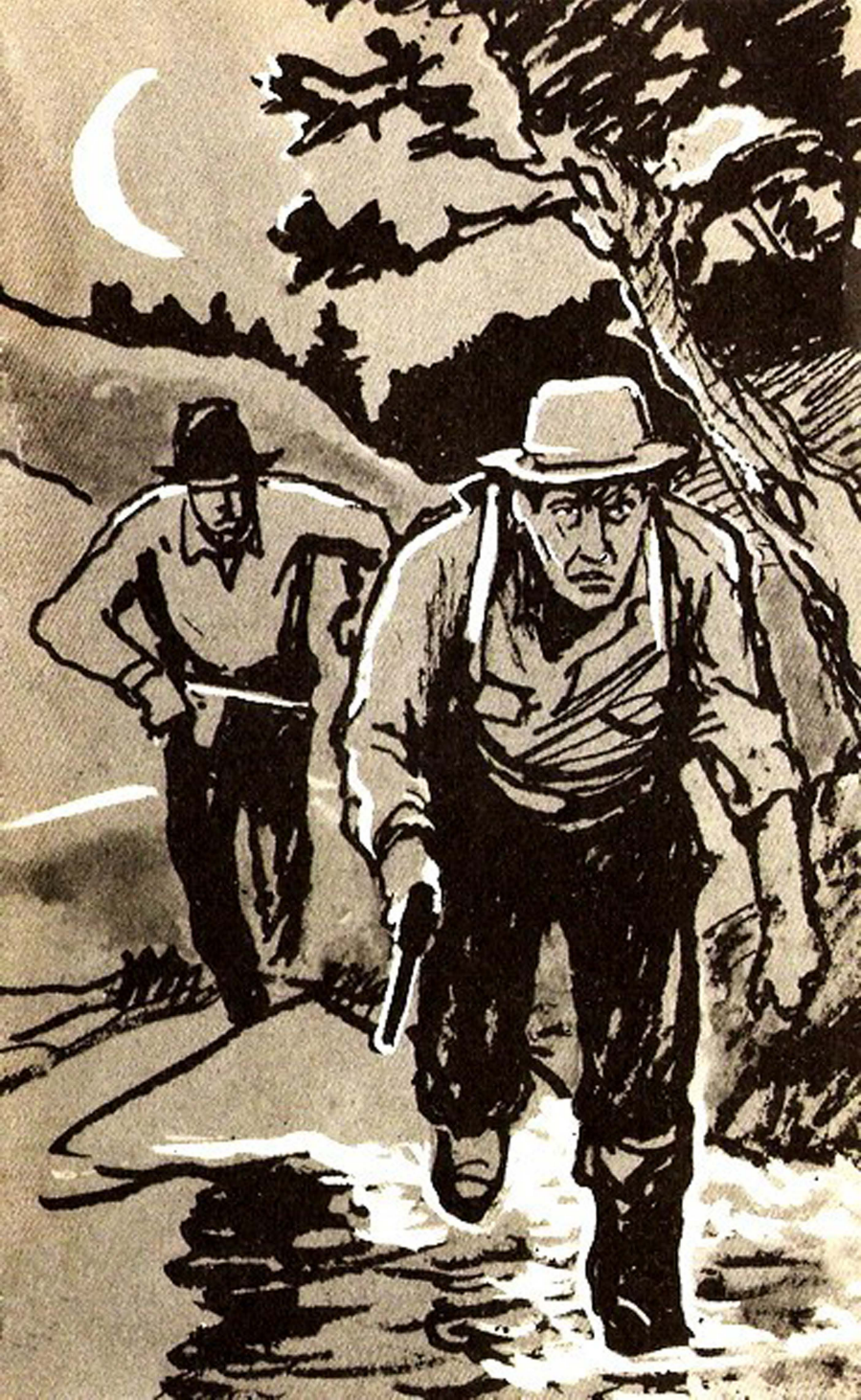
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Адрес редакции: Москва, А-30, Суцевская, 21. Тел. 251-15-00, доб. 4-10.

Сдано в набор 28/III 1973 г. Подп. к печ. 18/V 1973 г. А00714.
Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 10,5.

Тираж 150 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 719.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
Москва, А-30, Суцевская, 21.



Ал. АЗАРОВ — Где ты был, Одиссей?

Александр КАЗАНЦЕВ — Фаэты

Михаил БАРЫШЕВ — Конец „дачи Фролова“

Цена 20 коп.

